

ИВАН ФЕТИСОВ

СИБИРИАДА



Крест
на чёрной
границе

Сибиряда

Иван Фетисов

Крест на чёрной грани

«ВЕЧЕ»

2023

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фетисов И. В.

Крест на чёрной грани / И. В. Фетисов — «ВЕЧЕ»,
2023 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8981-5

В книгу иркутского писателя Ивана Васильевича Фетисова (1926–2013) вошли произведения разных жанров. В исповеди «Крест на чёрной грани» сошлись лицом к лицу на сибирской земле два незаурядных человека, проявившие себя храбрыми защитниками Отечества во время Первой мировой войны. Тогда они были в едином строю, но октябрьский вихрь разметал их по разные стороны. Отважный Иван Стродов сражается с врагами новой России, Фёдор Градов предпочёл крестьянскую вольницу. Но того, что обещали марксисты, крестьянин не получил... В настоящее издание также включены повесть «Колос жизни и тревоги» и избранные рассказы. Иван Васильевич Фетисов родился 9 января 1926 года в селе Евсеево Боханского района Иркутской области. За его плечами десятки лет журналистской деятельности — работа собкором «Восточно-Сибирской правды», редактирование районных газет, дольше всего — заларинской «Сельской нови». Автор нескольких книг очерков, рассказов, повестей.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4484-8981-5

© Фетисов И. В., 2023
© ВЕЧЕ, 2023

Содержание

Колос жизни и тревоги	6
Глава I	6
Глава II	9
Глава III	11
Глава IV	14
Глава V	18
Глава VI	25
Глава VII	29
Глава VIII	39
Глава IX	41
Из записок Соснова	46
Зимовье на Ние	46
Таёжная находка	51
Нехоженой тропой	54
Возмездие	58
Клад в пещере	70
Глава X	73
Глава XI	76
Глава XII	86
Глава XIII	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Иван Фетисов
Крест на чёрной грани
(Повести, рассказы)

© Фетисов И.В., наследники, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *

Колос жизни и тревоги

Повествование

*Звонит и льётся птичьи́н голос,
Узнай, о чем она поёт,
Пойми, что шепчет спелый колос
И что за речи ключ ведёт?*

Иван Никитин

Глава I

Вот ещё чего не хватало – навалилась бессонница. Лежу дома, в тёплой постели, а ночь напролёт не в силах сомкнуть глаз – будто на фронте, в сырой землянке, в ожидании боя. И раздумья незабытые ползут в горячую голову, как холод из заброшенного подвала. Ну, на фронте, там понятно – гадаешь, что выпадет солдату на его безмерную долю. А откуда тут, дома, сумятица? Спать да бы спать – нет, перебираю годы в растревоженной памяти. Всё чаще и чаще воскресает Иосиф Петрович Соснов. Наставник мой и учитель. Учёный-биолог...

В юности я сравнивал Иосифа Петровича с любимым своим растением – колокольчиком – и поэтому думал, что человек этот, учёный-биолог, бессмертен. Ведь колокольчик – вечный житель лугов. А Иосиф Петрович умеет разговаривать с растениями, и, конечно, они посвятили его в свои тайны вечности.

Вижу старика рядом с собою, хотя знаю: нету уже его на этом свете. Вижу виновато склонённую седую его голову: «Саня, прости... Я обещал дождаться тебя с войны – судьба вынесла приговор свой...»

Вчера я отыскал могилу: на памятнике – пятиконечная звезда и надпись: «Здесь похоронен учёный, селекционер Иосиф Петрович Соснов. Родился 10 марта 1875 года. Умер 18 января 1944 года».

И сегодня, смурной от очередного бессонья, поднялся рано, надел успевшую полинять армейскую одежду и решил побывать на опытном поле. Была когда-то туда заветная дорожка! Иосиф Петрович проложил её в первый же свой 1900 год, когда молодым агрономом приехал в только что обоснованное научное учреждение, где предстояло ему заняться выведением хлебных злаков.

На улице свежо. С Нии тянет тугая речная прохлада. Отяжелённые влажной листвою, чуть слышно шелестят старые тополя.

Тишина.

Из подворотни двора дядьки Ефима высунула морду собака, раза два твякнула лениво и спряталась. Сметливая, видно, лаять и не собиралась, просто подала сигнал: человек идёт свой, человек фронтовой – лаять на него грешно.

Нудно и колюче скрипит протез – приставная нога. Хоть домой возвращайся, бери солидолу да смазывай. В спешке не разглядел – подсунули уродину при выписке из госпиталя. Радуйся и тому, что дали, – едешь домой! На окраине села, если смотреть в сторону опытного поля, приметно несколько троп. Понаторили в моё отсутствие за три года. Которая Сосновская? Да вот эта, что оторвалась от замшелой изгороди и скрадчиво нырнула в лес. Тропа застарела, укуталась в траву-мураву. Видно, после смерти Соснова редко по ней ходили, отпугивал крутой подъём – выбрали полегче. Метрах в пяти от изначала тропу до земли накрыл

ветвистый кустарник. Я раздвинул заросли, принагнулся и поглядел вперёд. Раньше нет-нет да и прорывались на притоптанную землю прямые полоски солнечного света – сейчас стоял сырой и холодный мрак.

Первый невысокий подъём одолел не останавливаясь. Как и тогда с Иосифом Петровичем. Манил второй взгорок – затяжной и покруче. Хватит ли сил подняться? На середине пришлось отдохнуть. Расстегнул ворот гимнастёрки, носовым платком вытер шею, лицо и закурил сбережённой в дороге солдатской махорки. Сидел, пока не истлела самокрутка. Полегчало в отекшем бедре, и весь сам будто бы освободился от чего-то лишнего. Утренняя прохлада сбила налёт ночной вялости.

Теперь – дальше. Тропа повела вправо, к уступу над рекой. С него мне, подростку, Иосиф Петрович показывал клокотавшую внизу Нию. С разбегу рассекла тут река диабазовый пояс, за тысячелетия сточила горбатый перекаат и понеслась к Ангаре. Ещё запомнил я три сосенки-сестрички. Пухленькие, с искрящимися зелёными иглами, они походили на празднично одетых девиц. Сосенки росли на голых камнях, виделись чистые, промытые дождями нити корней. Потрогал я тогда их рукой – отозвались нежной коричневой кожицей. Сосенки-сёстры смотрятся в речку, слушают её говорок на перекаате.

Я силился представить глубину, куда уходят корни, как они впитывают там живительную влагу, и не мог. Не доходила до моего детского сознания тайна. Так и увёл меня Иосиф Петрович по тропе к опытному полю в тревожном недоумении.

Сосенки заметил издали и поторопился. Соизмеряю цепким взглядом: деревца подросли, раздались вширь ершистыми ветвями.

– Здравствуйтесь, сестрицы! Узнаёте или нет? Я-то, кажется, не ошибся. Ну, отвечайте...

Я ещё раз поглядел на них, теперь уже каким-то рассеянным взглядом. Что это? Не видно корней! Где? Вон как! Спрятались, мхом принакрылись! А нуте-ка покажитесь! Отвалил волглый пласт мха и между валунов увидел поразившие меня когда-то своим дыханием артерии корней. Но, прикоснувшись к ним, я не понял – корни это или мёртвые камни? Неужели?..

Вкралась тревога, что теперь пальцы моих рук не могут ощущать и различать предметы. Противился этой мысли, старался её заглушить, но она тлела, как уголь под пеплом в загнете.

На опытное поле добрался, когда уже выкатилось из-за гор огнистое солнце. Залитая ярким светом, молодо дышала земля. По полю от края до края теснились друг к другу небольшие прямоугольные деляны с посевами. Вблизи они размежевывались узкими пешеходными дорожками, а дальше, метрах в десяти – пятнадцати, сливались в зыбкое от ветра зелёное озеро: опытное поле... Всё те же десять – двенадцать гектаров давно распаханной земли окружает кольцом могучий лес. Тишина. Здесь всегда было тихо. Защитник от всякого шума лес. Сюда и заморозки навевываются позже. Удачное выбрал Иосиф Петрович место...

Я оглядел первые от края делянки, словно сделал экскурсию в прошлое. На маленьких полюшках, когда я уезжал на фронт, оставались посева обещающего сорта пшеницы «таёжная». Года через четыре он должен был вытеснить ослабевшую «сибирку».

«Таёжная» красовалась крупным колосом с ядрёными литыми зёрнами на стойкой солоmine. Многие колхозные председатели внимания к ней не скрывали, просили семян, но было преждевременно открывать дорогу новой пшенице. Не удалось взять даже пригоршню зёрен первейшему другу Иосифа Петровича Тихону Ознобову, бессменному в здешних местах председателю колхоза. Не поверил учёный Тихону, жадному до новинок, что зёрна не пропадут и, пока сорт идёт по испытательным делянам и будет районирован, колхоз накопит семенной материал.

Я слышал бойкий спор между ними.

– Зря ты, Тимофей Романыч, настаиваешь, – говорил Соснов. – Сорт «таёженки» пока не готов.

– Как? Такой крупный колос, упругая соломина!..

– Вам любо хорошее, но не знаете о плохом. У пшеницы долг вегетационный период, а потому нет гарантии, что пощадят её ранние осенние заморозки.

Не отрывает Тимофей взора своего от пшеницы. Не унять мужика.

– Не дашь – украду. Приеду и сорву несколько колосков.

– Не пугай. Знаю: не украдёшь – человек порядочный.

– А вот рискну. Ради доброго дела.

Устоял-таки Иосиф Петрович перед натиском Ознобова, хотя снял по осени и высоко оценил урожай. И что бы стоило насыпать в кулёк горсть зерна и отвезти председателю?!

Всё это я вспомнил, когда блуждал возле делян и хотел увидеть «таёжную». Напрасны были мои старания – таблички с таким названием не нашёл. Промелькнуло какое-то другое, показавшееся мне грубым, слово «стрела».

Стою перед деляной, отойти не могу. Не выходит из головы загадка – хочу понять, почему вроде бы знакомая «таёжная» стала какой-то «стрелой»? Кто дал такое название? Разве оно лучше того, что было?

Кольнула догадка: можно опознать пшеницу по колосу ощупью. Учил когда-то Иосиф Петрович... Однажды поставил меня в неловкое положение. «Сань, а ты поймёшь ночью, какой перед тобою сорт злака?» – «Пойму». – «Как?» – «Фонариком посвечу». – «Э-э, так, Саня, не пойдёт, с тобою – ни спичек, ни фонаря». – «Тогда не знаю». – «А ты, паренёк, не догадлив, сразу в тупик, а дело между прочим простое. Я распознаю любой сорт, если потрогаю растение рукою. И тебя научу. Это ведь не сложно – притрагивайся почаще к растению, и голос его станет знакомым. Оно живое».

Поторопился протянуть руку к ближнему колосу. Сперва показалось, что, как и прежде, «таёжную» понимаю, но это было обманчивое чувство – ощущение её близости исчезло мгновенно.

Отошёл от деляны, присел на травянистую кромку межи. Подумав, согласился; продолжить старое дело вряд ли смогу. Невозможно – лишился способности, как говорят агрономы, вести отбор растений по внешним их физическим признакам.

Глава II

С беспокойно-смутной надеждой отдать всё, на что был ещё способен, ехал я из госпиталя домой.

От Саратова до Нийска – дорога дальняя. Отмерили половину пути, а я уже несколько раз мысленно побывал на опытном поле, будто сижу не в душном вагоне, а хожу хозяином между делян, с пристрастием оценивая посевы.

На подходе к Нийску и вовсе окунулся в прошлое. Не на фронт, о нём хотелось забыть навсегда – в родные дали.

Сижу на боковой лавке вагона, переполненного нашим братом-солдатом и разноликим гражданским людом, смотрю на пробегающие за окном степи, поля, леса.

Поезд катил и катил к родным местам, и мне казалось, что вот тут, стеснённый крохотным своим жилищем-купе, я впервые почувствовал, что время работает не на прошлое, а на будущее, потому что оно с каждой секундой приближает свидание с Мариной и не виданным мною сыном. Я радовался предстоящей встрече с ними.

Но радость поминутно переходила в тревожное чувство. Я мучился ожиданием встречи и с самого начала, как только попал в вагон, всё думал, как поступить лучше. Подать телеграмму? Мол, такой-то человек отыскался и теперь возвращается домой. Едет Сашка Егоров, бывший солдат, теперь человек с протезом, с чуть было не отмороженными руками, насилу вырвавшийся из смертного плена. Встречайте! Едет бывший помощник учёного-селекционера Иосифа Соснова, мечтавший сделать что-нибудь полезное для науки и унёсший свою мечту на фронт...

Я запасся бланком телеграммы и, не написав ни слова, порвал. В известие о приезде, так почему-то я думал, Марина не поверила бы, стала бы терзаться – что да как.

На третье утро проснулся от того, что в соседнем купе мальчишка, глотая слёзы, заученно твердил матери: «Мамка, дай хлеба!»

Мать отвечала полушёпотом:

– Ваня, нет хлеба. Не буди людей, спят.

– Дай, мамка, дай! Есть хочу...

Я обернулся на голос и откликнулся:

– Ванёк, потерпи. Минуту. У меня есть хлеб.

Вещевой мешок висел на крючке над изголовьем. В нём был выданный на дорогу сухой паёк, теперь оставалось немного – несколько брикетов гречневого концентрата, кусочки сахара да два, по полкирпичика, зачерствевших куска хлеба. Хлеб уже лежал на столике, когда ко мне подскочил Ванюшка, светловолосый трехлётний мальчуган с ямочками на побледневших щеках.

– Вот он. Возьми.

Мальчишка протянул руку, но не коснувшись хлеба, застыл.

– А у вас останется?

– Конечно. Бери, бери. И маму угости.

Я сел поудобнее, чтобы понаблюдать за мальчиком. Пока мать отрезала ломток, в томительном ожидании его был Ванюшка недвижим, только едва заметно шевелил губами – будто жевал. Но вот мать подала ему тонко отрезанный ломтик, он положил его на ладошку левой руки и стал понемногу откусывать. Откусит да посмотрит – убыл не убыл. Ничто не свете не было дороже, мальчишка видел только лежавший на крохотной его ладони кусочек хлеба.

Хлеб... Самое дорогое из всего, что есть для человека на земле. Не я открыл эту истину, но я действительно знаю цену крошке хлеба и не только по фронтовым окопам. Всё это познано и выношено от выпавших на детство нескольких голодных лет. В ожидании обеда или ужина

все мы, ребяташки, усаживались на лавочку возле топящейся железной печухи и замороженно глядели на собиравшую стол молчаливую бабушку. Я тогда не понимал, что сковывала её одна и та же нелёгкая забота: как нас накормить. Бабушка уходит в сени и возвращается, смотря по времени, в обед – так с тремя, в ужин – с двумя замороженными калачами, размеряет их на столе ровными дольками, режет и раздаёт едокам. Размоченный в горячем чае, да если ещё с молоком – калач был вкусен.

Калачи доставались тяжело. По осени, когда поля покидали жнецы, или весной, когда стаивал снег, уходила туда бабушка собирать колоски. Ходила далеко, за 30–35 вёрст на другую сторону Ангары. Иногда она брала с собою кого-нибудь из старших ребяташек, чаще двоюродного брата с сестрой Танюшкой, жили они в балагане или в заброшенном полевом стане подолгу, пока не насобиравали посильную ношу. Колосья отминали и отвеивали прямо на поле, и, когда накапливалось пуда полтора-два зерна, отправлялись домой. Чаще приносили уже размолотое зерно, встречалась где-нибудь по дороге мельница, договаривались о помоле, конечно, за какую-то плату мукой. В нашей округе, тем более на нашей заимочке с десятком полужи-лых домишек, настоящей мельницы не было. Кое-кто успел только обзавестись самодельными зернорушками. Выходила мука не мука, крупа не крупа.

Лепёшки из такого помола ещё получались, а калачи – нет. Для калачей надо было иметь настоящую муку, и бабушка вроде бы старалась не нарушить старинный крестьянский обычай. Однажды решила бабушка перейти Ангару по весеннему расслабленному льду. Беда приключилась на середине реки: лёд провалился, мешок с мукой у бабушки был за спиной...

Мерно стучат на стыках рельс натруженные колёса. С заспанными хмурыми лицами туда-сюда снуют по вагону люди.

Я посмотрел на доедающего ломтик хлеба маленького попутчика, он ответил кроткой улыбкой. И, ощутив прилив недолгого радостного чувства, я подумал, что накормит Ванюшку наша «таёженка».

Глава III

Светло на душе. Желание сбылось: родное поле рядом. Всё окружающее – и поле, и межу, и лес – вижу таким, как прежде. Те же крохотные (чудится, можно прикрыть ладонью) деляны. И посеянные на них хлеба – те же. Вдали, кажется, что по посевам, – на самом деле по тропинкам между ними, – в белых одеждах ходят женщины с подростками. Они поминутно наклоняются к земле – вырывают сорняки: то кустистый, с мягкими корнями просяник, то молодую, ещё совсем хрупкую лебеду. Работа знакомая! Без неё хозяином поля называться не мыслилось. К аккуратности приучил Иосиф Петрович, грозил наказанием, если живой сорняк замечал.

Нет, только на первый взгляд поле видится неизменным. В опытных посевах появились непривычные для нас культуры. Вон, направо, полоски с ветвистыми растениями, наподобие сурепицы. Не сурепица же? Сурепица – сорняк, сеять её не будут.

Иду смотреть. Оказывается, рыжик. Принудила война – испытать, приживётся ли масличная культура в Сибири? Много делян с картофелем. Из сотен образцов «второго хлеба» учёные хотят отобрать и пустить в производство самые урожайные.

Отвлёкся ненадолго: помаячила в отдалении полоска высокого хлеба. Не «таёженка» ли? Осторожно, короткими шажками, пробираюсь в глубь поля. Поравнялся с женщинами-полольщицами.

Они оставили работу, смотрят: что за человек появился? И вполголоса между собой.

– Не Саша ли Егоров?

– Кажись, он...

Я остановился, поздоровался. Женщины ответили приветливо, приглашают в свою компанию.

– После приду, хозяйюшки... Сегодня хочу посмотреть «таёженку». Не знаете, где она посеяна? Вон, не та ли виднеется?

– Там, Саша, «стрела». «Таёженку» не видели. Вернулся на межу – пора отдохнуть.

Строгого хозяина теперь нету, и в поле, конечно, полно сорняков. Видны прямо с межи. Рядом вымахала осотина, как на опаре, разбухла. Вырвать придётся, оставлять вредно. Пустит семена, на будущий год проклюнется тьма-тьмущая всходов.

Переступил неглубокую борозду, разделявшую межу с полем, и попытался пристроиться к осотине. Сделать это оказалось непросто – протез. Чуть не упал, пока принаравливался за стебель половчей ухватить. Но вот, кажется, вышло, как надо. В полунаклоне и, натягивая, держу сорняк в правой ладони, переломился пониже захвата, растение обмокло тягучим зелёным соком. Снова ухватился за оборванный, уже сплюснутый и разломатившийся стебель. Не удалась и эта попытка: корень глубоко и крепко сидел в земле.

Бросив затею, отошёл и сел на межу. Задумался. Осот к осени вырастет опять. И если кто-то попробует вырвать его, всё равно не поддастся – ни осенью, ни будущей весной. Завидна в нём страсть к жизни. Так завещано от природы. Остался ли какой способный возродиться корень во мне? Мог бы сказать мой учитель Иосиф Петрович: «Саня Егоров – человек не потерянный, раз вышел из кромешного ада, то теперь ему велено жить и работать».

На кого опереться? На Степанку рассчитывать рановато, сам ещё не встал на ноги. Старый товарищ Геннадий Комарков – поодаль, на его сочувствие можно располагать, когда уж совсем станет неумогу. Раньше в любую минуту я мог положиться на благосклонность Иосифа Петровича – да что было, то прошло.

...Вот он, будто живой и здоровый, с усталой задумчивостью на весёлом лице, опять предстал перед моими глазами. Он! Его побуревшая и уже покривившаяся от жары соломенная шляпа и серая из льняной ткани куртка. Идёт. Обходит деляны и смотрит посева.

Первейшее дело – обойти и осмотреть всё, что посеяно. Так изо в день, из года в год. Ходит, присматривается, размышляет. Тут он – хозяин, властелин, чародей! Как же не чародей, если находит какой-то тайный, только ему доступный язык с растениями. Вот он бережно, с тончайшей осторожностью, останавливает покачивающийся колосок, выпрямляет его, приподнимая, подводит поближе к глазам и, кажется, совсем не дышит, когда смотрит в поблескивающую синью лупу.

Не состоялась обещанная встреча после войны, но во мне осело, поудобнее отыскивая местечко, чувство, будто мы только что настороженно глянули друг на друга.

Нас соединяла, не зная того сама, «таёжная»...

* * *

Заприметил издали, как только свернул с лесной тропы на свою улицу, Марину и Степанку – на лавочке возле калитки. Лица в мою сторону – ждут. Заждались.

Степанка, размахивая ручонками, метнулся навстречу, взял за руку: «Давай, пап, помогу!» – и пошёл, стараясь шагать пошире, чуть впереди.

Марина встретила весёлой улыбкой. Всё было в ней, этой сердечной её улыбке – и не сникшая ещё радость от возвращения из похода, и минутная тревога за дальнейшую свою и мою судьбу, и ожидание разговора, зачатки которого уже отложились в её душе

– Устал, мой родненький фронтовичок? Сядь посиди. Или ужинать?

– Посидим. Немного тяжеловато с непривычки. Приноровлюсь – так ещё со Степанкой в лапту гонять будем.

– Давай сейчас, пап! – сразу нашёлся Степанка.

– Сейчас не получится – мне ещё надо научиться бегать так, как умеешь ты.

Степанка вскоре убежал играть с соседскими ребятами, а мы, оставшись вдвоём, разговорились.

– Насмотрелся на поле, всё увидел, наверно, уже не пойдёшь?

– Нет, пойду.

– Удивляюсь, что там смотреть?

Марина поглядела на меня с лёгким укором.

– Хожу смотрю, где «таёженка» набирает силу. А ты её видела?

– Конечно... В прошлом году.

– А нынче?

– Кажется, тоже. Где-то, вспомнить бы, на глаза попадала. А-а, вот где – в северной стороне поля. Там же видел?

– Может, ошибся... Гляжу – вроде она, «таёженка», а щиток – с названием «стрела».

– Кто-то, наверно, поменял случайно таблички. Скажем Геннадию – пусть разберётся.

Кстати, новость узнала сегодня – от тётки Дорины, мимо её ушей ничто не пройдёт: на учёном совете Геннадия назначили заведующим отделом зерновых культур. Вместо Иосифа Петровича.

– Уж больно Комаркова нахваливаешь. Думаю, на место Соснова следовало назначить равного во всём ему человека.

– Геннадий молод ещё. У него, Саша, завидное будущее.

– Нет уж, Марина, хорошего коня и жеребёнком видно. Вряд ли Геннадий накормит нас хлебом.

– Все учёные с малого начинали. И Соснов – тоже.

– Грех сравнивать этих людей, Иосиф Петрович человек, каких на земле пока мало. К слову, что сделал Комарков за последние три года?

– Мельком слышала: два его сорта, он доводил испытания, начатые другими, выходили на госкомиссию. Не прошли – слабенькие.

– Ну, вот... А ты толкуешь мне о каком-то завидном его будущем. Сомневаюсь, будет ли когда он хорошим творцом. Пока уверен в одном: Геннадию до Иосифа Петровича – как руку до неба.

– Некого больше было назначить, – Марина улыбнулась. – А ты смог бы?

– Желаете увидеть меня руководящей персоной? А почему бы и нет? Я имею моральное право стать заведующим отделом. Хотя бы потому, что обязан отдать то, что взял у Иосифа Петровича в долг. Но пока не по плечу – здоровье шаткое. Дальше – посмотрим.

– Я поняла: хочешь быть похожим на своего наставника.

– Если удастся... Я уже говорил – Соснов человек завидной судьбы. Вот, кстати, вспомнился один случай. Послушай, Марина. Расскажи кому другому – могут и не понять, а ты не осудишь, если и ошибусь.

В госпитальной палате я поспорил с одним товарищем, Егором Епифановым. Наш мужик, сибиряк, правда сибиряк городской. На каком-то военном объекте до войны работал. Ему череп осколком от «фауста» проломило.

Лежит почти недвижимо и нахваливает учёных и с ихней, немецкой стороны, и с нашей. Кто из них, дескать, мудрее по части изобретения оружия. Дурачина ты, говорю, это не учёные, а душегубы.

Человеческий ум должен работать на благо. И я привёл в пример Иосифа Петровича.

Егор, то ли от пришедшего после ранения безумия, то ли от природного безразличия в понятии, откуда берётся зло, сердито пробурчал: «Тебя бы, Егоров, за колючую проволоку. Вишь, чего захотел?»

– И что ты ответил?

– Сказал, что учёных, кто сотворяет бомбы и гранаты, надо послать на конфетные и макаронные фабрики.

– Я то же бы сделала, но ведь и до нас с тобою умные люди об этом говорили. Какая же сила остановит это безумие?

– Людям пора одуматься. И надо-то совсем немного: понять, для чего рождается человек – жить или убивать друг друга?

– Ладно, Саша... – тихо сказала Марина. – Пора ужинать, и так запоздали. И она позвала Степанку.

Глава IV

Опять в поле. Опять разыскиваю «таёжную». Покоя не нахожу. Осмотрел деляны, мимо которых вчера прошёл не приглядываясь. «Таёжная» не показалась.

Что же такое? Словно ослеп. Столько полосок с пшеницей, а «таёженки» нету, будто сквозь землю она провалилась.

Набрался духу – обошёл поле по окружности. Устал до изнеможения, аж мотыльки в глазах замелькали.

Неподалёку, в березняковом перелеске, звякнул колокольчик. Оглядываюсь: табунятся лошади. Как очутились возле самого опытного поля? Пастбище в другом месте – на прибрежной луговине.

Нашёл хворостину, пугнул:

– Эй, воронье, заблудились!

Лошади насторожились. Где-то позади их – протяжный окрик:

– Б-буланка! Кар-рья! Тпр-ру! Куда понесло? – старик повернул табун и, выйдя на окраину перелеска, посмотрел в мою сторону.

Окликаю его:

– Дядь Ефим!

Раньше с конюхом Ефимом Серебряковым виделись не часто, мимоходом, на улице. Поздороваемся – и по своим делам. Видно, считали, что нет повода для разговора, вроде бы знаем друг о друге всё, что надо. Да ко всему Ефим слыл в посёлке человеком с загадкой: водил дружбу с цыганами. Что их сблизало, никто толком не знал, а слухи по округе ходили разные. Говорили, Ефим – сообщник кочующему племени по плохим делам, что в его усадьбе, за недоступными заборами, есть глубокий тайник и цыгане прячут в нём наворованное добро. Поэтому он чуждался злых языков людей. В защиту Ефима восстал однажды Иосиф Петрович:

– Зря на мужика говорят. С цыганами он дружит из-за привязанности к лошадям!

Дядька Ефим, очутившись рядом, повеселел. Видеть это было радостно.

Обнял мужика за плечи. Тот поостерёгся:

– Полегче, Сашко! Сила-то у тебя, должно, ещё осталась. Не всю высосал немец.

– Малость осталось...

– Ну-ну, – замялся Ефим, вглядываясь, каков я молодец. – Слух прошёл, мол, Саня Егоров вернулся. Верю и не верю. Откуда, думаю, раз без вести канул. Со мной тоже было... Тогда, в четырнадцатом году. Тоже из-за немца получилось. В окружение у самого Могилёва взвод наш влип. Бились целые сутки. Хватило меня осколком гранаты. В лазарет разом не попал, у крестьянки одной лечился. Месяц провалялся. А писаря внесли в книгу неизвестных. Как до дому дошло, бабы, ребятишки, их трое, загоревали. Сиротами же остались. Потом Марья намерилась сойтись с другим человеком. Поди, тебе сказывали про это?

– Не слышал, дядь Ефим.

– Ну вот, жизнь-то и оказалась разбитой. Хоть верёвку на шею набрасывай. На коленях стою перед Марьей, жинкой-то, молю Христом Богом, чтоб снова быть заодно. Да, видно, тот, другой приятней меня был. Не вернулась. Почти три года ни к одной бабе не подходил, а потом уже вроде бы оживать стал. Построил новый домишко, обзавёлся кое-каким хозяйством, а там и приласкалась вдовушка. Ты, конечно, помнишь её, другую-то жинку, Дорину.

– Помню. Добрая женщина.

– Ничё. Жить можно. Живу.

Разговорился дядька Ефим. Накопилось, видать, в душе, а высказать некому.

– Кони-то не заблудятся?

– Не, Сашко, не заблудятся. Теперь к водопою, на реку пошагали.

– Ну, ладно. Можно, выходит, и посидеть.

– А пошто нельзя-то! – дядька Ефим засуетился, как приветливая хозяйка перед гостями. Вывернул из-за спины холщовую суму – по-фронтальному «походную кухню»:

– Сашко! У меня есть кой-чем позавтракать, – он торопливо разложил на суму хлеб, варёные яйца, поставил бутылку с молоком.

– Ешь, Сашко.

Сам дядя Ефим к еде не притронулся. Сидел и, глядя на меня, о чём-то думал.

День набирал силу. Солнце с безоблачного неба смотрело весело. Над землёй разливалось тепло. Роса испарилась, непримятая трава блестела свежо и ярко.

– А што ты рано на поле? – встревоженно спросил дядька Ефим.

– Пришёл посмотреть свою «таёженку».

– Посмотрел?

– Ага... Пшеница-то вроде «таёжной», а название почему-то другое. Иосиф Петрович, что ли, переименовал? Вам он об этом не говорил?

– Не говорил. С нашим братом по таким делам учёные не советуются.

– Может, что слышал?

– Слухов полно... Трудно понять, где правда. Поживём – увидим, – уклончиво ответил дядька Ефим.

Где-то невдалеке подала голос кукушка. Звучное «ку-ку» прозвучало над перелеском и затерялось в распадах.

– Слышал ноне её? – настораживаясь спросил дядя Ефим.

– Первый раз.

– Удачно те выпало, Сашко! Ты поел и разом безгнездна прокуковала. В народе поверье живёт, если ты слышишь её первый раз сыт и с копейкой, так и будет весь год.

– Было бы хорошо... – Ефим пожал плечами.

– Оно будет, конечно... Как с немчурой расквитаемся. Не принёс вести, когда война-то кончится?

– Принёс. Когда до Берлина дойдём!

– Стало быть, много ещё силы нашей понадобится. А тебе, вижу, порядком отломилось. Боле, чем мне. Оно понятно, нынешняя потеря куда злее бывалых.

Дядька Ефим сидит тихо, не шелохнётся, не мигнёт. Только шевелит губами, будто что-то пытается сказать и не может. Смотрю: на его щеки слёзы выкатились. Коснулись усов и остановились. Никогда не видывал таких – чистые, словно из родника, и крупные, как горошины. Долго, видно, копились. Ничего понять не могу и спросить стесняюсь.

От внимательного взгляда дядька Ефим встрепенулся.

– Сашко, а ты Кольшу-то моего знал? Сына младшего?

– Помню. Смуглым, кряжистым пареньком. Года на два меня помоложе.

Дядька Ефим отвернулся, видно, заметил задержавшиеся на усах слёзы и смахнул их ладонью. – Погиб парень. Прошлой зимой принесли похоронку.

От жалости к дяде Ефиму защемило в сердце.

– А ты, случаем, Николку-то там не встречал? – спросил дядя Ефим, когда успел подумать о том, что бывают и такие моменты: людские пути неожиданно совпадают.

Что сказать, чтобы смягчить его боль? И зная, что её никогда и ничто не затмит, ответил вопреки его желанию.

– Не встречал, дядь Ефим...

– Да, конечно, – согласился он. – Фронт велик, одни – под Ленинградом, другие – под Сталинградом. Ты-то, слышно было, воевал тоже на Сталинградском фронте?

– Там.

Я чувствовал, что он хочет услышать побольше солдатских подробностей – всё-таки человек пришёл с войны. А я помалкиваю, вроде бы таюсь.

Дядьке Ефиму в диво видеть меня живым. Каким чудом вырвался, если воевал под Сталинградом. Поди, думает: схитрил. Отсиделся в обозе, а то, что покалечен, так могло случиться и не на передовой. Николка-то сложил головушку. Да не один он, Николка. Егорка Вантеев, Гошка Маньков, Витька Гладцунов, Лукаха Ершов, Петро Серёдкин, братья Анатолий и Степан Черниковы... Ефим помнит всех, кто домой теперь не вернётся. Помнит и тех, кого матери ещё ждут. Сашко Егоров – единственный пока в посёлке вернувшийся с фронта солдат. Повезло парню... Что помогло уберечься?

Топот лошадей затих, они ушли по перелеску в падь и по набитой вдоль косогора тропе одна за другой спускаются к водопою. Впереди, наверное, та же буланая кобылица. Её шаг – путевой для других.

Солнце поднялось над перелеском, и оттуда потянуло влажным теплом. Пропольщики, женщины и подростки, уже отделились, едва заметны их головы – перешли на другие поляны.

Дядя Ефим прибрал остатки еды в сумку и, не трогаясь с места, закинул её, как была раньше, за спину. Я все ещё тревожился за оставшийся без догляда табун, не забрёл бы в какое другое запретное место, но конюх уходить не торопился. Ефим вынул из накладного кармана брезентового армяка кисет. Набил табаком самодельную трубку (он мастерил их из корней берёзы). Ловко чиркнул огнём по ребристому кремню, искры капнули на трут. Дунул на очажок огня, огонь разросся, и потянулась струйка дыма. Частыми затяжками раскурил трубку.

– Я вот сижу тут с тобою, подумаешь, дядька Ефим бездельник, а я всё думаю. Много таких было, ну, без вести пропавших?..

Отзываюсь:

– Дядь Ефим, на фронте всего навидишься. Сам знаешь... Бывает, и раненого на какое-то время обойдут санитары.

– Может, где и Николка затерялся. Хотя... – дядя Ефим безнадежно махнул рукой и, порывшись за пазухой, достал свёрнутый вчетверо лист бумаги.

Читаю «похоронку». Ошибка исключена. Указано место, время гибели и погребения старшего сержанта, помкомвзвода Николая Серебрякова.

Дядя Ефим замер в ожидании: что скажу? Будто я мог сказать что-то, отчего бы стало легче и свободнее уставшему маяться в постоянной тревоге сердцу.

– Храните похоронку. Она – тоже святая память о сыне. Долго ли был на фронте?

– Более года. Следом за тобой ушёл. Тоже добровольцем. Два ордена получил, медали... Небось, и ты, Сашко, с наградами?

– Два ордена Славы. Красная Звезда должна прийти. Наградили, а получить не успел.

– Ладно выходит, – не то похвалил, не то одобряя позавидовал дядька Ефим. – Счастлив ты, Сашко, потому что честен перед людьми. Долг свой исполнил свято и возвратился рассказать, что было, да посмотреть, что и как пойдёт дальше.

Вот и подкрался дядя Ефим ко мне. Так и знал, что подкрадётся и заставит рассказывать про жизнь армейскую. Надо, видно, ему знать. Фронтовик скажет, что видел и пережил сам – от чистого сердца.

Но что сказать? Часть прибыла под Сталинград в середине декабря. Состоял во взводе связи. И весь разговор среди солдат был о том, как удержать город. Роты, взводы настороже. Позимнему одеты, вооружены, чем надо – автоматами, гранатами, бутылками с горючей смесью. Заняли рубеж: окопы, траншеи. Наставало утро. Солнце ещё где-то в глубине горизонта, а небо уже светлело. Было тихо. Морозно. Раздали завтрак. Едим. Суп, каша гречка – с огня. Как дома. Вспомнил Марину со Степанкой, Иосифа Петровича с Маргаритой Максимовной. Думаю, уже позавтракали, а я только сажусь.

И вдруг загудело. Загрохотало.

...Бой предreshался. Натиск немцев слабел. Мы пошли в контратаку. В это время батальонный сообщил, что с третьей ротой нарушена телефонная связь. Зарываясь в снег, пополз искать повреждение. От окопов метров на сто удалился. Провод держу в руке, чувствую его лёгкое скольжение – вот-вот место разрыва. Скорее бы! Комбат ждёт: задерживается приказ. Ползу... Ну вот, кажется, у цели. Соединяю концы, пальцы еле шевелятся – застыли. Проверяю – цепь замкнута. Радуюсь удаче... Да, видно, порадовался прежде времени...

Очнулся в землянке. В правой ноге нестерпимая боль. По запястьям опухли руки. Саднят. Шуму полна голова. Не пойму, то ли за насыпью землянки гудит, то ли во мне самом какие жернова крутятся.

Заходит в землянку мужчина в одеянии немецкого солдата. Тьфу! Фриц мерзавец, почуяв живого, dokonать явился! Подходит поближе, говорит на ломаном русском языке:

– Парэн, як тэби вэлычати?

– Александр... Егоров. А тебя?

– Антонес Бэреску. Из Румынэи, – кивнул на котелок с кашей. – Есть надэ!

Глотаю через силу, а сам поглядываю на Антонеса. Вот откуда кормилец-то мой взялся! Видел же его под стоявшим с разорванной гусеницей немецким танком, когда полз соединять провода.

Кто он и почему лежит под танком? Грохнул снаряд, рядом. И всё оборвалось. Оглох. Онемел. Сколько лежал без сознания – не знаю. Подполз ко мне Антонес.

– Парэн, вставай! – стёр с моего лица землю.

Раздвигаю слипшиеся веки и вижу сторбившуюся надо мною фигуру чужого солдата. Надо обороняться, приподнялся и рухнул всем телом на противника. Руки впились в мягкую тёплую кожу под подбородком, а силы сдали. Снова ушёл в забытье.

Пришёл в память через двое суток. Всё тело дышало жаром, правую ногу придавила к нарам тупая боль, плохо слушались кисти рук, обморозил, и теперь саднят, округляются, будто от ожога, водянистой опухолью. Тихо в землянке – могила могилой. Пригляделся: на скамейке, возле меня, солдатский котелок, в нём какое-то варево, исходит еле заметный пар. Не сомневался, котелок поставлен для меня на всякий случай: если не забудусь вечным сном, то будет чем подкрепиться. Было только загадкой, кто оставил еду – как по обычаю наших сибирских таёжников. Солдат? Так я же его придумал. В моём сознании и сейчас стояла картина, будто схваченный за горло, он задышал тяжело и с хрипом вытянул, раздвигая мёрзлые комья земли, длинные в серых необношенных валенках ноги.

...Теперь снова вижу его перед собою. Кто он – мой враг или нет? Человек! К чему дума – враг он мой или друг, всё одно, с кем отправляться в могилу. Но какая-то, мне не подвластная сила всё же перечила, твердила спросить: сколько погубил он русских? Он делал это потому, что солдат. Я тоже убивал немцев. Есть только между нами одна разница: он убивал нападая, я – защищаясь.

...Обрываю рассказ и гляжу на притихшего дядьку Ефима. Минуту-полторы он молчит. Покачал головой. Поднялся и, собирая мысли, сказал:

– Так вот ты и канул по ошибке без вести...

Взглядом провожаю уходящего дядьку Ефима. За спиной сумка с недоеденными харчами, качается из стороны в сторону. Придёт час обеда, и он сядет где-нибудь на пенёк и малость поест.

И в эту минуту покоя, может, он снова подумает о том, что отыщется и его Николка.

Глава V

...Над поляной – звонкий утренний свет. Свету много – ослепило глаза. Ночью был тёплый дождь, и пашня сейчас дышит испариной, потому опытное поле с посевами похоже на подёрнутое лёгким туманом озеро.

Я всё ещё сижу на ребристом взгорке испокон веков не троганной лемехами земли, и живёт-теплится во мне чувство, будто собрался встретить тут лучшего друга. Марину? Степанку? Этим непоседам дорога сюда не заказана. Хватятся – опять долго нету отца и – в поиски. Да и Геннадий Комарков может очутиться – у него большое опытное хозяйство, за ним нужен догляд постоянный.

А в то лето 1938 года долго держалась жаркая погода. Раскалилась, как печка, и потрескалась земля – босиком ступить невозможно. Грозил опытным посевам явная опасность. По настоянию Соснова отдельные поляны поливали привозной водой. Запряжёт дядька Ефим Гнедого – и на берег Нии.

В один среди многих обычных дней произошло важное в жизни моей событие – встретился с Геннадием Комарковым.

Пристроился, сижу возле делянки, держу лупу перед глазами, осматриваю колоски. Самая пора уличить – нет ли зачатков пыльной головки.

Не заметил, как подошёл и остановился за мою спиной человек. Лёгкая от природы походка или нарочито крался, чтобы подойти незамеченным: невидимкой очутился он рядом и несколько минут наблюдал, что делаю.

– Хвала учёным мужам! – слышу жёсткий голос. Поднимаю голову и удивлённо смотрю на гостя. Он заметил мою растерянность.

– Назначен... младшим научным сотрудником. В отдел зерновых культур.

– Ну, что же, рад познакомиться.

Мы коротко пожали руки друг другу, отошли на межу. Некоторое время сидели молча, приглядываясь. Скованный деревенской застенчивостью, я не представлял, о чём можно говорить и мучительно переживал за явную оплошность. Однако всё-таки был не без дела – время от времени моё внимание привлекала внешность гостя.

Сложен ладно: крутые плечи – завали куль с картошкой – не дрогнут, широкая грудь – выдержит кувалдовый удар, тяжёлая рука. Стать – завидно! – боксёрская. Зачёсанные с крутого лба на затылок волосы цветом напоминают вороново крыло. Под чёрными, кустисто размётанными бровями остро поблескивают лунно-холодным светом глаза. По таким глазам трудно понять душу человека. Запомнилась напущенная на нижнюю пухлая верхняя губа. Явно барствовавшая в ней брезгливость, а может, порою силилась и настырная строгость. Всё это, разумеется, для меня ничего не значило – просто уловил некоторые штрихи в облике нового знакомого.

Наверно, и он подметил мои характерные черты: светло-русый, жидковатый на висках волос, прямой заострённый нос и тонкие скупые губы. И наверняка уж сравнил свою выдобрешую плоть с моей, приморенной лихолетьем.

Гость повернулся ко мне лицом и спросил:

– Давно тут?

– Четвёртый год.

– После института?

– Да нет, окончил техникум. А вы?

– Только что защитил диплом в институте – о развитии зернового хозяйства в Восточной Сибири... За годы первых пятилеток. Сюда по рекомендации профессора. Советовал в науку. Советом не пренебрёг, – младший научный сотрудник лёг на траву, закинув за голову руки.

– Таланту грешно пропадать. Тут он и пригодится. Работы – без конца и без края.

– То есть как без конца...

– Долго корпеть над сортом приходится, пока тот получит признание. Мой руководитель, вернее учитель, выдал не больше десятка... за тридцать лет. На станции он с дореволюционной поры, с её изначала.

– Я слышан о нём. Вообще. Есть Нийская опытная... Есть хозяин её, старый агроном Соснов. А как об учёном – сведения о нём весьма скупы. Да и сам я перелистал книг – дай бог столь каждому. О Соснове – беглые строки.

– А «сибирка?» Пшеница высокой пробы. Это же его творение! – воскликнул я. – Вы разве об этом не знаете? – злость закипала во мне. – Ничего вы тогда не знаете! Мне наплевать на то, что вы слышали и чего начитались. Я всё вижу сам!

– Не оспариваю, – ответил он спокойно. – Допускаю – видели вы больше, чем я. Но в своих суждениях несвоеволен. В источниках по созданным на Нийской сортам, не сомневаюсь, вы с ними знакомы, Соснов присутствует только в группе соавторов. Нету у него своего имени.

– Клевета! Соснов своего имени не выпячивает. Личной славой пренебрёг, даже отказался от присвоения за созданные сорта учёной степени. Молодым открывает дорогу. Это великодушно!

Не в силах стерпеть обиду я встал и ушёл. Комарков так и остался лежать на меже в позе отдыхающего туриста.

Близко не общался с Геннадием месяца полтора. В поле ходили по разным тропинкам. Я – своей, старой, натоптанной Иосифом Петровичем, Геннадий – новой, надбережной.

Свежий путь по каменистому откосу был мало удобен да и опасен. Малейшая неосторожность грозила обернуться бедой – потревоженная каменная глыбина могла с вековечного места сорваться и придавить, мог и сам оступиться да и угодить в пропасть. Однако Геннадий не страшился, и я, конечно, раскусил смысл его действий – во что бы то ни стало хотел он подчеркнуть, чертяка, своё превосходство надо мной: «Смотри, Санька, где я пройти способен, а ты и на ровном месте споткнёшься...»

И в поле в разных местах работали. Я находил предлог уединиться, Иосиф Петрович без всякого подозрения в маленькой хитрости какое-то время соглашался со мной, но долго продолжаться такое не могло. Заметил хозяин – пробежала между нами «чёрная кошка», задержал однажды на поле:

– Вы поссорились, мои дети?

– Было. Поначалу случилось, – повинулся я, чувствуя себя правым. – Генка напорол про вас всякой ерунды, я и дал ему добрую отповедь.

Соснов сговорчиво кивнул и отвёл мой довод. Он посчитал, что вся причина нашей ссоры – молодость Геннадия. Молодой ум, что молодая брага бродит... Нету злого умысла или корысти. И отныне мы должны забыть всякие распри, ибо перед нами – великая цель, постичь которую возможно только дружбой и бескорытием.

Тогда и сказал Иосиф Петрович, не раньше и не позже, будто урочный час ожидал:

– Помните, дорогие мои сподвижники, слова одного мудрого человека:

«Здесь надо, чтоб душа была чиста, здесь страх не должен подавать совета...» Это сказал бессмертный Данте.

Я наклонил голову и поклялся себе запомнить эти слова, Геннадию только и хватило отваги – коротко, натяжно улыбнуться.

Вскоре я примирился с Геннадием. Вышло не сразу – сперва просто не подавал виду, что презираю его надменную самоуверенность. Старался ответить шуткой на порой едкие замечания, а когда понял, что могу быть терпеливым, решил стать надёжным товарищем. Геннадий загорелся от неожиданной радости, обнял меня:

– Сань, ты гений!.. Иосиф Петрович – вдвойне! Такие старики редко рождаются.

Не по душе пришлось его ребяческое ликование и, наверно, потому, что показалось неискренним – нет-нет да вспоминался первый колкий разговор. Но всё же подумал, что, возможно, чересчур к товарищу строг и напрасно отношу себя к безупречным знатокам (чужая душа – потёмки) людских характеров. Нельзя же ведь человеческие эмоции по полочкам разложить: на одну – радость, на другую – горе, досаду. В какой-то неощутимой глубине всё сливается и перемешивается во что-то единое.

Теперь ранними утрами мы уходили в поле вместе, в посёлке стали называть нас «братцы-техники» – вопреки различию в должностях – Геннадий-то всё-таки был младший научный сотрудник.

Прошло три года...

Что сделали за это время? Можно сказать, толково цельного в исследованиях пока не вышло, и Геннадий внял голосу разума – страсть сотворить скоренько новый сорт злака мальчишески наивна. Нужны целые годы непрерывного труда и стойкой веры в призвание.

...На пятый день войны я подал заявление – попросил направить на фронт.

В наш тихий, в стороне от больших дорог посёлок грозная весть докатилась утром же. Верилось и не верилось в известие о начавшейся войне – у нас о ней пока ничто не напоминало. По посёлку, как и прежде, бабы сновали с вёдрами, нося от колодца воду, опытники спешили к полянам, конюх, рыжеусый, коренастый, в брезентовом армяке, дядька Ефим провожал на водопой табун лошадей.

Неопределённость исчезла, когда назавтра, после полудня, нам с Геннадием вручили повестки – явиться в назначенный час для медицинского осмотра. Комаркову предоставили двадцать четыре часа на сборы в армию, мне предложили остаться по брони. Я с удивлением взглянул на военного комиссара:

– Вижу – не доверяете? Почему же Комаркову служить, а мне отказ?

– Обстановкой военной диктуется... Знаем, есть у вас перспектива на новый добрый сорт пшеницы. Останетесь работать. Вместе с Сосновым.

– Я думаю наоборот: у Комаркова шансов побольше, он смыслит в научной работе лучше меня.

– Товарищ Егоров, решено. До сего дня вы ещё могли спорить. Отныне... – комиссар положил на стол правую руку – дал знать: разговор продолжать бесполезно.

Выйдя из кабинета, я написал заявление – просил, точнее сказать, требовал направить на фронт. Отнёс прошение военному.

– Настаиваете, товарищ Егоров?

– Совесть велит... Как буду смотреть людям в глаза, если останусь дома?

– Ладно, рассмотрим. Ждите. Результат сообщим в течение суток. Домой отправился в сомнении – не спорол ли горячку? Заявление настроил в пылу патриотического порыва, никто не обязывал писать, наоборот – от мирских забот отрывать не хотели, а ты, чудак, вызвался сам...

Что выплеснула душа, тому и следовало быть, надо было иметь какую-то силу другую, чтобы воспротивиться той, что копилась уже многие годы. Всё одно та, другая сила, пусть даже и крепкая, оказалась бы слабее той, что, не зная исхода, всё-таки обронила душу.

И ещё одного мне хотелось в этот тревожный час: поскорее увидеть Маринку – смотреть на неё оставалось совсем недолго...

* * *

Утренние часы на поле, как и раньше, тихи и степенны. Я проследил полжизни, если не целую в краткости свою жизнь, а солнце только шага на два-три от горизонта поднялось

– видно, некуда ему было торопиться, осмотрелось получше, куда больше тепла и света дать, теперь шаг ускорит.

Позади, ещё влажные от ночной росистости, раздвинулись приземистые ивовые кусты, и в их матовом от сумеречности прогале, как привидение, застыла в размытом очертании мужская фигура. Кто? Почему остановился? Так затаивается при виде человека чуткий и осторожный зверь. Какое-то время он стоит выжидая, а после инстинкт самосохранения заставит его скрыться от людских глаз.

Минуты две я смотрел в пространство между разрозненными ветвями, смущённый нерешительностью незнакомца. Я подумал, что это порядочный и предусмотрительный человек. Заметил возле опытных посевов постороннего и хочет понять, что тот делает, – не натворил бы худого.

Не стал ожидать, когда он подойдёт – сам пошёл навстречу.

Идти смело вперёд всегда лучше – выиграешь, даже если столкнёшься с врагом.

Человек было заслонился ветвями, но, видно, понял, что я вижу его, изменил решение, выпрыгнул из кустов и кинулся ко мне. Шагах в десяти в размашисто бежавшем и улыбавшемся мужчине опознал я Геннадия Комаркова. Он подскочил ко мне, бросил на плечи обе руки и прижал к груди.

– Сань! Ты?.. – отстранился на полшага, как бы оглядывая меня на расстоянии, его глаза всё ещё стыли в растерянности – не ошибся ли?

– Я, брат... Я.

– На тебя приходило... извещение как о без вести пропавшем.

– Ошиблись. Выжил, приехал. Пришёл вот посмотреть наше опытное поле.

– Всё так неожиданно, нежданно... Да что смотреть, право, не знаю. Перемен больших не случилось.

– Покажи хоть тот сорт пшеницы, ну «таёженку» нашу.

– А ты что о ней ничего не слышал?

– Нет.

– Как же?

– Вчера только прибыл.

– С «таёжной», Сань, не вышло.

– Неужели?!

– Да. Не оправдала она нашей надежды. Выбраковали её: обнаружилась куча пороков.

– Не может быть! Что за горе такое?!

– А тебе-то что горевать.

– Разве забота только обо мне?

– Ну, да я так, к слову... История тут, Сань, целая история. О ней когда-нибудь, сейчас это не главное. Рад нашей встрече, давай поговорим о другом, а сорта, будем живы-здоровы, от нас не уйдут.

Мы отошли к грани, за которой ровной шеренгой, одна возле другой, теснились делянки, присели.

– Да ты, оказывается, с подарком! – услышав стон протеза, настороженно посмотрел на меня Комарков.

– С фронта редко кто возвращается невредимым. На то и война.

– А при ходьбе почти незаметно, – удивился Комарков. – Удачно изладили.

Комаркову вроде бы даже интересно видеть рядом фронтовика, да к тому же ещё старого товарища. В душе, возможно, он меня и жалел и хотел сказать, что при увечье я выгляжу прежним, только я по своему осмыслил его безобидные слова. Плохо быть подозрительным. А что подделаю с собою, если иначе пока не могу. Как иначе, когда в голове только за это чудное июльское утро, безоблачное и тихое, скопилось столь неясных тревожных дум, для другого всё

это пустое, зряшное, а я слышу в себе какой-то немой протест, не могу с чем-то смириться. Смотрю на рядом сидящего Комаркова, а он представляется мне затенённым ивовыми кустами: чего выжидал, кого высматривал? Спрашиваю:

– А ты что, Геннадий, перед тем, как встретиться, застрял в кустах? Дело какое было, что ли?

Комарков выжал улыбку:

– Бывает, посевы воруют, сподряд колосья срезают. Время такое тяжёлое...

– Да ну!

– Приходится караулить. Не понимают люди, что и для чего здесь посеяно.

– И меня за воришку принял?

– Да нет... Тебя-то просто не узнал. Я ведь не слышал о твоём возвращении. Ночью приехал из города, а чуть свет сюда – посмотреть.

– Тоже воюешь?

Комарков рассмеялся, отмахисто вскинул голову:

– Вроде бы так выходит, воюем, Сань, с врагами... селекционеров.

Я вздохнул облегчённо, вот ведь как, оказывается, подозревал совсем напрасно, без всякой причины, и не надо было волноваться, всё так, как и должно быть в жизни, – он, Комарков, наблюдал из-за кустов, не потому, что кого-то испугался, а хотел толком разобраться – собираются красть или нет драгоценные колоски, их и в самом деле надо оберегать, пока, как дитя, набираются сил. Вырвался вздох при воспоминании о «таёжной». Раз выбраковали, такова, видать, судьба, чем-то не вышла пшеница, так не стоять же за неё, бесполезную. Слышал от Иосифа Петровича не одну историю, когда сорта безжалостно вычёркивались потому, что на смену выходили лучшие, а нередко и тогда, когда сорт неожиданно выявлял какое-то негодное свойство.

Не удивился неожиданному повороту в разговоре – Комарков позвал меня на берег Нии к Ефиму Тихоновичу по-землячески отметить моё возвращение.

Уединяться куда-то большого желания не было. Какое веселье, когда всё вокруг неустроено!

– Ты что, Сань, зазнался? Брезгуешь другом!

– Да не могу же я... Вишь, здоровье-то какое!

– Донесу на плече. Хватит силёнок. Шагать недалеко. Скатимся на берег Нии, тут рядышком. Местечко красивое. Ты знаешь.

– И что там, на нийском берегу? – не сберётся я от удивления.

– Всё будет, что надо, – прицеливаясь, повёл бровью Комарков. – Здесь же не прифронтная полоса – и свежая ушица найдётся, и горилки добудем. Скатерть-самобранку покличем.

Пошли. Брёл я, чуточку, на полшага приотставая от Комаркова, и уже что считал достоинством, ибо ревность в ходьбе стучёвывала мою беду.

До берега и на самом деле недалеко. Стоило миновать опытное поле, и мы очутились на крутолобой прибрежной горе. К темно-зелёному берегу вела застаревшая тропа по тенистому распадку. Под уклон идти было легко, ноги невесомы, в распадке густо пахло смешанным травным настоем, его перебивал стойкий аромат сосновой смолы – и всё это текло впереди или же позади нас куда-то вниз, к речному руслу. Комарков спешил, хотел, что ли, в нужное время застать на месте Ефима, а когда углубились в распадок, он вроде бы вспомнил о моём протезе и спросил:

– Ты, Сань, не выдохся?

– Да нет.

– Тогда без привала – до теремка... Скоро вынырнет.

Терем-зимовье – постоянное место отдыха Ефима Серебрякова – выплыл из-за испятанного молодыми берёзками пологого пригорка. Издали он не представлял ничего особен-

ного, домик как домик, когда же очутились рядом, я залюбовался его красотой. На загляденье отделал Ефим свой одинокий теремок. Крутосклонная крыша – на четыре ската, не видывал я такой, необычная крыша, не драничная и не тесовая, как принято в наших сибирских краях, – из широких пластов выстоявшейся бересты с зачернёнными крапинками корявых наростов. Ниже терем опоясывал вокруг тоже своеобразный кружевной карниз. Это была долго подержанная в чутких руках и под надёжным инструментом сосновая кора. Обыкновенная кора, какую никто не считает за строительный материал, а поди ж ты, какой красотой заиграла, ну просто божеское творение, не всякая кружевница выдаст такое. На углах карниз как бы несли на себе разные лесные обитатели – белки, медвежата, глухари и тетерева. И так везде – по наличникам, по ставням и по стенам – до самого фундамента из задубелых лиственничных чурбаков – что-нибудь да вывернется такое, о чём я слышал только в полузабытых бабушкиных сказках. Ради того, чтобы посмотреть на зимовье, стоило пройти и десять вёрст.

Я поблагодарил Комаркова за доставленное мне удовольствие, поблагодарил искренне, и он принял это как должное, зная, что иначе быть не может, если человек понимает и умеет ценить красоту.

– Ещё не всё, Сань, – пообещал Комарков. – Если дядька Ефим раздобрится, потешит нас разными побрякками.

Ни в зимовье, ни поблизости от него хозяина не оказалось. Комарков крикнул – никто не отозвался. В ожидании постояли возле зимовья минут пять и по крутой тропе тронулись к берегу.

Дядька Ефим показался из-под набережного обрыва неожиданно: никого не было – и вдруг человек в серой брезентовой куртке, резиновых сапогах, с голенищами по самые паха и с ещё мокрыми на правом плече вёслами, навстречу, лицом к лицу с Комарковым. Мы отступили с тропы в сторону, чтобы дать рыбаку поудобнее место на равнине, но он пренебрёг нашим намерением, приостановился на взгорке и ухнул басом:

– Гости нагрянули! Ого-о!

Отчего же такое внимание, когда знает обоих, и я виделся с ним недавно? Неужели удивился неожиданному приходу в зимовье? Так и это для сибиряков дело привычное.

Ефим дружелюбно кивнул:

– Айда, хлопцы, к зимовью!

Вот уже и подоспела с пылавшего у зимовья костра уха из свежего нийского харюзка. Но прежде уха, аромат которой потёк и перебил все витавшие вокруг нас запахи, Ефим Тихоныч выставил на стол графин вина.

– Повеселимся, орлы!

Не был я удивлён гостеприимством Ефима Тихоновича, чему тут удивляться, когда давно известно, что сибиряки народ с виду суровый, а душа у них тёплая, приветливая. Вот оно, явное доказательство – Ефим Тихонович. Попадись он на таёжной тропе, с лопатистой бородой, в расстёгнутой брезентовой куртке – волосатая грудь нараспашку, посмотрит своими тяжёлыми глазами да нечаянно благословит громовым басом – по-заячьи стреканёшь, чтобы побыстрее скрыться. А он с сожалением подумает: чужак человек, земляка испугался.

Прошло добрых часа два, когда я заметил, что хозяин пустынного зимовья и Комарков захмелели. Неожиданностью это не было – в графине крепкого зелья оставалось едва-едва приметно, на дне. На двоих (я прикасался к налитому стакану для виду) такой дозы было достаточно. Захмелев, Ефим Тихоныч с Комарковым завели между собой бойкий разговор.

Чтобы не мешать, я вышел на улицу и присел на толстый сукастый чурбак возле замиравшего костра.

– Т-ты, Г-генка, – наступал Ефим, – без меня ни шиша не значишь.

– Много берёте на себя, Ефим Тихоныч.

– Не много, Г-генка... Ты в моих руках, как пескарь на цепком крючке.

Куда хочу, туда и поведу.

– Бросьте пугать, Ефим Тихоныч... Я тоже кое-чем могу пригрозить.

– Но-но! Не дорос грозить-то... Не петушись! Насчёт рыболовства и охоты, что ли, намекаешь! Так это всё по закону, по лицензиям.

– Не всегда лицензии-то в законе. Кому дозволено летом губить сохатого?.. Знаю – состою нештатным охотинспектором.

– Вон куда гнёшь, варвар! Копаешь? – Ефим Тихонович отвесил кулаком по столу, судорожно задрожала посуда. – Меня не поймаете, не та мишень, а себе худо сделаете.

– Сам себе? – со смешинкой спросил Комарков. – Такого не будет. Я перед вами ни в чём не виноват.

– Не перед мной, так перед другими...

Разговор оборвался. Я не стал вдаваться, почему. Могло быть, что Комарков на какую-то минуту протрезвел, понял возможную свою ошибку и смолк, могло быть, что его и взаправду чем-то припугнул Ефим Тихонович – всё это было загадкой, ломать голову над нею я не стал, потихоньку встал с чурбака и пошёл к берегу.

Из-за горы хлынул ещё яркий свет предвечернего матово-мятого солнца, а речная долина уже дышала наплывающей из сумеречных падей прохладой. Где-то в отдалённом верховье тишину покачивал рокот перекатной волны.

Я выбрал оглаженный ливнями камень-валун и сел послушать убаюкивающий шум воды.

Комарков заметил моё исчезновение вскоре, как окончился спор с Ефимом Тихоновичем, и пришёл на берег с веслами. Хмель ещё держал его в плену.

– Идея, Сань, родилась. Давай катанём на моторке по Ние.

– Небезопасно?.. Вода на прибыль пошла – понесло мусор.

– Что слышу от фронтовика? Тебе ли, Сань, трусить. Эй, Ни-я! Раздвинь берега! – зычно крикнул Комарков и направился отмыкать лодку.

Я остался на берегу с тяжёлым предчувствием. Сегодня Ния доброго не сулила. Наполняясь тающими в Саянах снегами и скрывая под водой топляки – листовничные брёвна, она была страшно опасна для лодочников. Беспокоился, пока не увидел стремительно вынырнувшую на быстрину лодку. Смелая поступь Комаркова успокоила. Научился, видно, чертяка у Ефима Тихоновича умению держаться на воде.

Лодка всё уходила дальше в верховодье.

Глава VI

Очнулся от страшного ощущения. Показалось, что стиснутый леденящей водою, брожу в отчаянии по дну реки, отыскивая выход на берег. Сююсть туда-сюда – просвета не вижу, всюду кромешная тьма. Не надеясь справиться своими силами, кличу Геннадия и Ефима Тихоновича, а слабый голос теряется близко. Но вот будто плеснулась над головою волна – подплыла лодка, расслышал знакомый голос: «Сюды, Санча, сюды. Поднимайся!» – звал Ефим Тихонович...

Пошатнулся подо мною застланный ватным матрацем топчан, в головах лежала повлажневшая подушка: накрытое одеялом и шубою, тело моё палило огнём и трясло колкой ознобистой дрожью. Топчан стоял возле окна, и в терем глядела полная луна. Свет её рыжей полосой падал на пол, захватывая край стола. Первую минуту, пока осматривался, подумалось, что лежу дома, только почему-то не на кровати. И Марина ушла куда-то. Отсутствием её не встревожился, предполагал возможную отлучку по какому-нибудь делу к соседке. Потом услышал торопливые шаги на улице. Насторожился, обвёл рассеянным взглядом жилище и понял – нахожусь опять в том же музейном зимовье.

Появилась Марина с какою-то молодой женщиной. Они прошли за перегородку в тёмный закуток, о чём-то поговорили вполголоса, женщина показалась оттуда в белом халате и застучала в открытом чемоданчике стекляшками. Зачем они тут? Неужели со мной плохо? И почему я здесь, в постели, такой беспомощный, как ребёнок? Всё похоже на фронтовую землянку. Только похоже. Так что же? В моём ещё не просветлившемся сознании начали всплывать события минувшего дня. Прикрыл глаза – и вижу расписанное узорами зимовье... Радужный дядька Ефим... Суматошный Комарков... Дрёмно лежит предвечерний берег Нии. По реке чайкой проносится моторная лодка и пропадает в туманистом верховодье...

Гулкая вода доносит встревоженный голос. Он сейчас эхом отдаётся в моей голове: «Спас-и-те!» Голос то вспыхивает, то загасает. Неужели Комарков попал в беду?! Наверное, перевернулась лодка. Поругал его за непослушание – вот те на, расхлёбывайся теперь! – и не сразу сообразил, чем и как помочь. Было бы самым подходящим позвать Ефима Тихоновича, он-то человек бывалый, не растеряется. Я побыстрее выкарабкался на прибрежный бугор и громко прокричал рыбаку. Не было чем-то таинственным молчание: Ефим Тихонович, как сразу же понял я, после утомительного застолья ушёл куда-нибудь в укромное местечко и лёг отдохнуть. Как ни бодрись, ни хорохорься, а годы своё берут, и вот, наверное, похрапывает старик, забыв о всех мирских заботах. Идти в зимовье было бесполезно.

С крутяка Ния проглядывалась в обе стороны на значительном расстоянии и не надо было долго засматриваться, чтобы обнаружить лодку. Она чуть виднелась, чернея просмолёнными бортами на течении, а возле неё изредка взмахивал то ли веслом, то ли рукой человек... Лодка медленно, почти незаметно, продвигалась к берегу. Хватит ли ему сил дотянуть? Поторопился сбросить одежду и нырнуть в воду. Дух перехватило от тугого ледяного обводья.

Что же случилось дальше? Я лежал и ничего больше вспомнить не мог.

На каком-то переломном моменте нить памяти оборвалась.

Женщина подошла и села на табуретку рядом со мною, полунаклонившись:

– Как самочувствие?

– Морозило... Сейчас бросило в жар.

– Помнишь, что случилось?

– Помню... Поплыл по Ние. Что дальше было – не знаю.

– Тебя нашёл в воде у берега Ефим Тихонович. Едва привёл в чувство... В голосе фельдшерицы звучало недоумение: вот мол, человеку повезло возвратиться с фронта, а тут с жизнью чуть ли не распрощался. Право на жизнь-то дорогой ценой досталось, теперь её надо беречь да беречь, быть предусмотрительным и осторожным.

Я порадовался, сознавая, что сделал то, что и следовало, и спохватился о Комаркове.

– А Геннадий?! Где он? Что с ним?

– Ничего особого. Искупался, обсох и ушёл в посёлок...

– Пошто?

– Не сказал. Шапку в охапку – и айда. Будто чего-то застрашился.

Стараюсь сохранить спокойствие, волнение приходит само собою – от напоминания об уходе Комаркова. Спрятался! Слабости своей застеснялся? От вины какой страшит себя? На фронте такой поступок не нашёл бы оправдания. Выходит, я рисковал напрасно, моя помощь Комаркову была не нужна.

Между тем фельдшерица подала выпить какого-то снадобья. Оно потекло по телу облегчительной волной. К изголовью неслышно подошла Марина, прислонила руку к моему лбу, провела от виска до виска, задумалась. Я как бы ловил её мысли и знал, о чём она думает. Конечно, Марина ругает меня за необдуманный риск на воде.

– Искала тебя весь день, – тихо сказала Марина. – Будто маленького ребёнка.

– Прости, Марина. Не нарочно получилось. Утром же думал вернуться. Ходил на опытное поле. А вишь, как вышло.

Марина посмотрела сердито:

– Уха дороже семьи тебе стала. Бутылка сманила...

– Марина!.. Я не прикасался к вину.

– От чего же тогда беда! Трезвый человек валяться на берегу не будет.

– Ты знаешь, наверно. Геннадия пришлось выручать.

– Смешно. Кто поверит, что инвалид спасал здоровяка.

– И такое в жизни бывает, Марина.

Марина в задумчивости склонила голову, я заметил, как по её щеке легко скользнула слеза.

– Что с тобой?

– Это нечаянно, Саша, просто, без всякого, ты не волнуйся, – ответила она ломким голосом, а сама следом вроде бы всхлипнула.

– Нет, с тобою что-то неладно, Маринка, ты не скрывай.

– Я всё о тебе думаю, Саша...

– О вчерашнем случае?.. Да брось ты, со мною ничего бы не случилось. В огненном пекле не сгорел, а здесь-то что? – говорил я, стараясь её успокоить. Не знаю, понимала она моё желание или нет, только видел – с лица её не сходит грустная улыбка.

– Я о другом, Саша, – не о вчерашнем дне...

– О чём же? Не мучь меня! Говори.

– Обо всём, обо всём, что было в нашей жизни, что могло быть... Я услышал её тяжёлый вздох, но не подал виду.

– Всё есть у нас, Маринка. Что надо, всё есть. Ты, я, сын. Земля большая, народ!

– А ты при всём этом счастлив, Саша?

– Ты зачем меня спрашиваешь об этом сегодня?

– Так захотела. Завтра бы могла не спросить... Только не обижайся... Я откровенно, чистосердечно.

– Я знаю, Маринка, про это. А счастлив ли я? Счастлив!

Они приблизилась, и я увидел широко открытые её глаза, казалось мне, полны были они удивления и восторга.

– Я рада за тебя, Саша, что ты такой... Если бы радость хоть чуточку заменяла счастье.

– Значит, ты не разделяешь моей участи...

– Я хочу, Саша, хочу! Только не привыкла ещё, мне трудно. – Она опять отвела лицо в сумеречно серевший угол, наверное, для того, чтобы не видел вновь наворачившейся слезы. Я не стал надоедать Маринке расспросами, отвернулся и посмотрел в небольшое окошко на улицу.

Восток густо закрасило розовой мякостью – будто разрезали напоказ огромный спелый арбуз. Под отсветом зари деревья стояли величественно-торжественные, с чуть заметно покачивающимися ветвями – жили, радовались грядущему дню.

Смотрел я в окно на ликующую утренней радостью природу и там, где-то меж смиренно молчаливых берёзок, видел Маринку в день нашей свадьбы... Когда смолкли песни, поутихла пляска – было уже за полночь, и приутомлённые гости один за другим начали покидать свадебное застолье, я шепнул ей:

– Давай на Нию – прогуляемся.

Она отозвалась с радостью, и тотчас мы вышли из присмирившего дома, по крутой, еле приметной в ночи тропинке спустились на берег. Ния дышала прохладой, катила свои студенисто-синие воды. Сильная она была в своей природе, эта горная река – стремительно, неудержно несла и несла, будто играючи, тысячетонный груз.

На берегу было тихо, а в голове моей всё ещё теснился, не находя места, шум и гам свадебного застолья. То и дело отчётливо звучало протяжное слово: «Горько! Горрь-к-ко!» Его несколько раз повторил Иосиф Петрович. Маринка стеснительно улыбалась, розовела от моих поцелуев. В белом подвенечном платье она казалась мне в эту ночь на берегу бог весть откуда явившейся волшебницей-снегурочкой.

Я так и назвал её тогда «снегурочка ты моя» и оттого, что произнёс эти слова, замер в счастливом покое, радуясь, что она принадлежит теперь мне.

– Мы теперь будем вместе, Маринка, – сказал я вполголоса и приник своею прохладной щекою к её, всё ещё полыхавшей жаром, щеке.

– Ага, Саша, – с волнением выдохнула она.

– Всегда?

– Всегда!

– Всюду?

– Всюду!

А утром, когда мы, ещё хмельные от счастья, не встали с постели, радио принесло весть о начале войны.

На пятый день отец, Марина, Иосиф Петрович, Геннадий и многие поселковые жители провожали меня на людном перроне в армию. Дыша густым паром, подошёл поезд. Иосиф Петрович, до сей минуты сохранявший величавое спокойствие, вдруг заметался, стиснул в объятиях.

– Ну, вот, Александр, набат прозвучал... Рад, что у нашей России есть такие сыны, как ты. И я верю – вы защитите Россию. – Иосиф Петрович нехотя отстранился от меня в сторонку: пусть подойдут проститься и другие.

Марина смотрела потерянно, грустно. Поцеловала меня, и по её горячей щеке медленно, нехотя прокатилась слеза. Марина разумом понимала, куда еду, и знала – зачем. Разумом понимала, едва ли – душой.

– Ты ведь скоро вернёшься, Саша, – сказала она, когда я уже ступил на подножку вагона.

– Скоро. Как...

Состав судорожно вздрогнул и покатил на запад. Я видел, как Маринка махала мне рукою, пока не потерял её из виду.

«Скоро» обернулось тремя годами.

Как ты, Маринка, жила без меня? Как жила – известно. Как все солдаты и дети. Теперь ты знала, что недоласкавший тебя муж вернётся нескоро, но ты ждала его день ото дня терпе-

ливее и строже. Так было до какого-то определённого времени, пока не пришло сообщение, что муж пропал без вести. Что же потом?..

Смотрю в горящие в сумеречи двумя угольками Маринкины глаза, стараюсь найти в них ответ. Не могу. Мне кажется, что в её душе происходит такое, что бессилён понять. Она не то что сторонится меня. Во взгляде её и готовность сказать, что она такая же, как и прежде, счастливая близостью ко мне, и постоянная обеспокоенность чем-то известным лишь ей одной. Мысли прерывает тихий Маринкин голос:

– Тебе дать попить, поесть что-нибудь, Александр?

– Не нужно, Маринка... Где ты чего найдёшь? Скоро пойдём домой, мне легче.

– Отдыхай, мы побудем с тобою, подождём.

Дверь в зимовье приоткрылась – мягко ступая, вошёл Ефим Тихонович. От него нанесло прохладной утренней сыростью и илистым запахом свежей рыбы.

– Поудил на зорьке, – сказал рыбак. – Не мог пропустить. Привык так вот – каждое утро, – весело поглядел на меня. – Э-ге! Поднимайся, солдат, а то пролежни станут. Уху сварим. Девки, почистите рыбу, у зимовья она, в корзине.

Терем ожил. Опершись обеими руками о кромку топчана, я поднялся, расправил плечи.

В открытую дверь зимовья донеслось пение пробудившихся птиц, щебетали они дружно, весело, с таким задором, что я стал слушать, забыв обо всём на свете.

Глава VII

Отговаривала Марина идти в партийный райком в этот день – едва отделался от болезни, по дому скопилась работа, надо поправить заборы, скот в огород через дыры лезет. То да сё – набралось поручений. Да и какая нужда идти-то, семь вёрст хлебать киселя по ухабистому просёлку? Приглашения не было.

Я настоял на своём – побывать надо, без всякого приглашения, его не принесут, райкомовцам обо мне пока ничего неизвестно. Явлюсь, покажу документы, кто такой, тогда будьте милостивы ко мне с почтением.

Упоминание о документах Марину заинтересовало: какие? Послужная армейская книжка? Удостоверения о наградах? Пожимая плечами и укоризненно покачивая головой, она сказала:

– Утаил ты от меня что-то, Саша?

– Да нечего таить-то, Марина. Какая может быть у меня от тебя тайна? Не было и не будет. В партию на фронте вступил – встать на учёт надо. По месту жительства. Вот весь и секрет.

– А сразу не сказал почему-то?

– Так... повода не было. Сейчас опоздал, что ли?

В райкоме безлюдно. Тишина, будто на фронте во время передышки. Огляделся. По узкому коридору пошёл отыскивать нужную комнату – где берут на учёт партийцев. Стараюсь ступать помягче: правая нога грохочет о голый пол, окаянная! Да что остерегаться – спящих тут нету, похоже, не только спящих – вообще пусто. Только и жизни – откуда-то из закутка, в конце затенённого коридора, еле слышен перестук пишущей машинки.

В коридор из ближней комнатухи справа вынырнула низенькая седовласая женщина. Услышала необычные шаги – вышла посмотреть, кто идёт. Спросила, кого нужно мне видеть, приветливо улыбнулась:

– Пойдёмте, пожалуйста, со мною.

В комнате, куда мы вошли, сидела ещё одна женщина, та была молода, с коротко стриженными русыми волосами. Подняла голову от письменного стола, зыркнула глазами и обратилась к пожилой:

– Домна Афиногеновна, товарищ, видно, на учёт?

– Да, Наташа. Оформите прикрепительный талон, – ответила старушка и повернулась ко мне. – С фронта?

– Оттуда...

Заполнить талон много времени не понадобилось – Наташа сделала это быстро. Женщины пожелали мне успешной работы в партячке, и я вышел из кабинета благодарный, пусть и мимолётному, доброму напутствию.

Скорый, приятно закончившийся визит в сектор партучёта на некоторое время омрачился досадным случаем.

В Нийск я добрался благополучно с Ефимом Тихоновичем. Марина беспокоилась, что придётся «семь вёрст хлебать киселя по ухабистому просёлку», а мне повезло. Вышел за ворота – вижу: рысит по улице знакомая упряжка. В ходке – Ефим Тихоныч. Куда? В Нийск. И мне туда же! Старикан даже обрадовался попутчику да заодно и попенял за излишнюю скромность, что постеснялся сказать о поездке.

А мне, откровенно, просто не хотелось обременять ни Ефима, ни кого-либо другого своими заботами.

В Нийске договорились: Ефим вернётся на условленное место, к подъезду райкомовского здания, через часок-полтора. Отстучало уже два с лишним – Ефима всё нету. Как в воду канул. Загулял мой кучер у дружков или не сумел вовремя проверить своё дело – добыть у какого-

то знакомого щенка охотничьей породы. Мог он предположить и то, что долго задержат меня в райкоме.

Что оставалось делать? Сесть и сидеть на лавочке возле входа в райкомовское здание, смотреть, чем живёт главная городская улица, припоминать прошлое да прикидывать варианты хода домой – веру в кучера потерял безнадежно.

Дел в Нийске больше не предвиделось. Навестить друзей-товарищей по старым адресам было, считай, затеей пустой – с одними навсегда расстался, лежат в безымянных могилах, другие – в госпиталях, лечат раны.

Когда-то, до войны, Нийск, тихонький, почти весь из деревянных построек городок на Транссибирской железнодорожной магистрали славился базаром, щедрым на привоз из окружающих его сёл и деревушек всякой всячины. Что имел работающий житель сельский, то и волок на базарную площадь. Не в диковинку было купить у добродушной старушки по сходной цене налитого жиром, как воском, увесистого гуся. Охотники до крупной покупки толпились у прясел с бычками и телками. Изредка попадали даже лошадки. Торговали ими обычно вечные путники – цыгане. Укатают сивку по дальним дорогам, потеряет коняга свою стать и резвость (смотреть – боль одна) – куда такого? На базар! Может, и клюнет какой любитель полезного для здоровья конского мяса (на базаре два дурака: один продаёт, другой покупает). Об огородной снеди и говорить нечего – завалены были ею прилавки.

А что теперь? Можно, и не заходя, сказать: бедна, если не пуста, нийская базарная площадь. Война... Разве покажет из-под полы спекулянтишка уже потёртую модную тряпицу и, нахвалив, запросит за неё втридорога. Так что тащиться на базар было незачем. В магазинах – тоже шаром покати, купить нечего.

И всё же хулить Нийск, как часто делают чужие, приезжие люди, я не собирался. Этот городок сам по себе примечателен. Вокруг богатые грибами, всякой ягодой и зверем леса. А Ния? Саянская посланница – быстроструйная речуга! Вот она-то и приобщила Нийск к сравнению с крупными именитыми городами, которые разделяются на две части могучими реками. Нийск тоже удостоился этой приметы. И подумалось: не появится Ефим – других попутчиков искать не стану. Выйду на берег Нии, брёвен, досок там валяется вдосталь – свяжу плотик, большой ли мне одному нужен – и сплыву вниз по течению до посёлка. Мне-то, солдату, дело привычное, а Марина удивится находчивости.

Прежде Марины удивиться пришлось самому – на крыльцо вышла знакомая седовласая женщина и окликнула:

– Товарищ... извините, на минутку вас можно?!

Смотрю на Домну Афиногеновну смущённый – меня ли кличет?

– Товарищ Егоров...

Меня, тут Егоров один. Что нужно старушке? Чем я ещё ей обязан?

– Вас просит зайти товарищ Округин. Секретарь райкома. Вот ещё новость! У меня пока к нему дела нету...

– Просил – хочет поговорить...

Домна Афиногеновна проводила меня до двери, обитой чёрным дерматином, тихо сказала:

– Сюда вот. Входите.

Секретарь райкома встретил на середине кабинета, подавая руку, задержал внимательный взгляд:

– Округин. Степан Алексеевич. Я тоже назвал себя.

– Понятно, товарищ Егоров... С фронта явился, – Округин кивнул на диван с обтёртыми подлокотниками. – Присядьте, солдат.

Не пожалел времени на встречу Округин. Редко пока, что ли, встречался с фронтовиками или же привлекло внимание моё знакомство с Сосновым? Трудно сказать, что стояло в тот

момент на первом плане, – разговаривал он заинтересованно, выспросил, долго ли я работал на опытной станции, когда ушёл в армию, где воевал и за какие фронтовые дела награды. Мне лестно было от его душевного расположения.

Как-то незаметно, само собой, бывает в обоюдно заинтересованной беседе, Округин переключился на рассказ о своих делах. Скорее всего, я подвёл его к откровению сам, когда услышал о Соснове и спросил, в чём он видит его заслуги.

– Это доморощенный учёный-биолог. Наш, родной. Знаток сибирского хлеборобства, – секретарь райкома многозначительно улыбнулся. – Такие, дружище, в наших краях пока встречаются редко. За одну «таёжную» заслужил он вечную людскую благодарность.

– Её же выбраковали!

– За что выбраковывать?! Пшеница хороша. Урожайна. Не полегает. Хлебопекарные качества высоки. Надо полагать, впредь она сохранит эти достоинства, а то и улучшит...

Округин повернулся ко мне и приумолк. Я заметил, что он уловил моё недоумение и, не зная, откуда оно, спросил:

– Вам известно о «таёжной» что-либо новое?

– Нет. Только слышал, что её забраковали. Сказывал Комарков.

– Припоминаю такого. А на каком основании он так заявил?

– Неустойчива, говорит, оказалась пшеница к пыльной головне.

– Странно... Я знаю и скажу вам: пшеница размножается в производственных условиях под наблюдением председателя колхоза Ознова. Такой уговор наш был с Сосновым. И что там выдумывает Комарков? – Округин встал и, проходя по кабинету, посмотрел на меня. Заговорил взволнованно: – Я недавно с Озновым смотрел пшеницу. Ни о какой головне речи не было. Разве что на делянах? Узнаю!.. И вы посмотрите! Вам, думаю, и сейчас опытное поле – не чужое.

– Своё, родное.

– И вам, и другим, – приостановился. Подумал. – Я бы, позвольте, всех учёных мира посадил на опытное поле. Не на военные полигоны, а на поля, где выращивают хлеб и картошку! Это нужно человечеству! Не снаряды и бомбы... – Округин сел, положил на стол руки, глянул вопросительно на меня, мол, как думает солдат.

Как думаю, Округин, конечно, знал. И мы, солдаты, на фронте и он здесь, в тылу, жили одной думой – для победы над фашизмом не менее, чем танки и самолёты, нужен хлеб.

Прерываю молчание.

– А Комарков про уговор с Сосновым передать «таёжную» в колхоз знает?

Округин ответил не сразу.

– Возможно. Если говорил ему Соснов. В противном случае он в это дело не посвящён. Передать «таёжную» в колхоз условились, как говорят, на свой риск и страх. Было так.

Я, будто школьник, насторожился и приготовился слушать.

– На второй год войны было дело. Враг захватил хлебные районы нашей страны. Партия поставила перед коммунистами в тылу задачу возместить потери за счёт восточных районов. Ну, как возместить? Два пути тогда избрали у себя в районе, больше не видели, не могли: увеличить кое-где пашню, вернуть к жизни местами запущенную землю да побыстрее размножить новый урожайный сорт пшеницы. Собственно, это не был ещё и сорт, пшеница лишь вырисовывалась на опытных делянах, – секретарь райкома, встав напротив, посмотрел на меня. – Вы, конечно, помните эту пшеницу, она тогда шла под номером 310. Сам Соснов о ней не упоминал, считал рано. И получилось всё как-то неожиданно, стихийно. Напросился к нему посмотреть питомник – что там? С полгода не был. Приезжаю. Учёный, вижу, не обрадовался моему появлению. Нечего, говорит, пока показывать, Степан Алексеич, нет на выходе подходящего сорта. Года через три-четыре появится.

– Поздновато, – отвечаю ему. – Время-то, вишь, какое! Фронт требует хлеба.

– Понимаю, – говорит Соснов, – а что поделаешь? Сожалею... Выше головы не прыгнешь. Идём по питомнику, толкуем, вытираем с лиц обильный пот, день выдался жаркий, начало июля. Смотрю: перед глазами несколько делян, пшеница на них, замерял – почти по пояс! А колос – с указательный палец, весь на виду, без ости, уже чуточку зажелтел. Вот чудо!

Останавливаю Соснова, спрашиваю:

- Иосиф Петрович, что за пшеница?
- Сложный гибрид. С уклоном на засухоустойчивость.
- А урожай?
- На опытных делянках центнеров по пятьдесят обходится.
- И зерно мукомольное? Хлеб-то выпекали?
- Получается. Вкусный.

Смотрю на деляны, а вижу целые составы вагонов с зерном. Да вы что, говорю уже с укором, держите добро под пудовым замком в амбаре! А-а?

– Нельзя выносить на поля – не готова, – отвечает опять. – Пшеница до конца испытания не прошла, а это рискованно. Посудите, Степан Алексеевич, дадим мы колхозам пшеницу, а в ней какая-нибудь язвинка выплывет. Всякое может быть. Вдруг окажется нестойкой к какой-нибудь болезни. Нам, учёным, это полбеда, колхозам – сущее бедствие.

Слушаю Соснова, чувствую его душу, а сам всё-таки думаю ещё и о другом: неужели ради большого дела нельзя переступить какую-то, пусть запретную, но не преступную грань? Убеждение не подействовало. Отстаивал учёный свою линию. Усмиряю себя, чтобы не выпалить грубое, оскорбительное слово. Несговорчивость Соснова казалась капризным упрямством, а не убеждением застраховать колхозы от какой-нибудь напасти. Возможно, я ошибался в своих догадках, но тревога о хлебе не давала покоя...

Секретарь райкома отошёл от стола к сияющему светом окну на малолюдную улицу, повернулся лицом ко мне и сказал задумчиво:

– Я тогда, грешным делом, подумал: Соснов лукавит не потому, что пшеница не подоспела для передачи колхозам. Было подозрение органов госбезопасности, мол, он, отпрыск купеческого рода, не благоволит новой власти. Вот с такими противоречивыми мыслями я оставил учёного. На прощанье всё же попросил основательно подумать о нашей беседе.

Соснов недели через две появился – неожиданно и, к моему удивлению, радостный. В обыденной рабочей одежде, прямо с поля, в льняной куртке и лёгких парусиновых брюках. Загорелое, свежестью дышит его лицо, ступевались морщины. Из-под тенисто нависших бровей молодо светятся серо-зелёные глаза. Видел, пожаловал человек с приятной вестью. Сели в кресла рядом. Соснов, положив голову щекой на левую руку, смотрит на меня. Заговорил взволнованно:

– Вы торопите, Степан Алексеевич, но я не знаю глубоких мотивов. Потеряна Украина – житница наша, так это ж не навсегда. Освободим!

– Когда?

– Об этом надо спросить у Верховного главнокомандующего. Он знает.

– О-о, Иосиф Петрович, и он может ошибиться в сроках. Нынешнюю сводку Информбюро читали?

Соснов, молча кивая, глубоко вздохнул, неслышно покачнулся в кресле.

– Понимаю: неудачу под Москвой норовит восполнить захватом Сталинграда.

– Тыл должен лучше помогать фронту. Всем, чем возможно. И тут ваша пшеница, Иосиф Петрович, не на последнем счету. Давайте побыстрее её на пашню, – повторил я свою просьбу.

Помедлив, Соснов сказал:

– Придётся, видно, отпускать птицу на волю... Не без риска, – сделал паузу, по-стариковски степенно перевёл сдержавшееся дыхание, продолжил: – А если какая случайность, не оставите меня, Степан Алексеевич, с бедою наедине?

– Вот такая история, товарищ Егоров, – добродушно поглядывая на меня, сказал секретарь райкома. – Тогда-то и открылась душа учёного. Подружился я с ним. Осенью часть семян Соснов передал колхозу для размножения.

Округин, задумчиво ушедший в себя, вернулся за стол, медленно опустился в кресло, распечатал пачку «Казбека». Закурил. Я подумал: Округин прервал рассказ о Соснове неспроста, на каком-то важном моменте. Было время попрощаться и уйти, а вроде не видел повода. Что-то между нами оставалось недосказанным.

По кабинету рассыпалась звень телефона. Округина вызывали на разговор с обкомом партии. Я было собрался встать – самое время воспользоваться заминкой, благодарно кивнуть собеседнику и уйти. Округин махнул рукой – попросил остаться и, когда закончил разговор, спросил, каким транспортом я собираюсь в посёлок.

– На плотике.

– Да ну? Не шутите.

– Правда... Кучер мой где-то затерялся. Ефим Серебряков.

– Не беспокойтесь – отвезём на райкомовской эмке.

Разговор с Округиным не успокоил, только укоренил сомнение. Если «таёжная» выращивается в колхозе, то почему нет её на опытных полях?

Чья-то невидимая рука затягивала узел всё туже и туже.

* * *

Маринка ожидала меня за накрытым обеденным столом. С нею же, возле её ног, крутился Степанка. Я его, пустившегося ко мне вприпрыжку, поймал на середине избы и поднял над головой.

– Испугался, орлёнок?

– Не, пап. Я лёгчик. Полетим ещё выше.

– Да хватит уж, силы у мотора маловато.

Степанка потянулся достать ручонками потолок.

– Немного осталось. Фур-р-р...

Глядя на наше баловство, Маринка заволновалась:

– Не приучай парнишку к озорству. Потом сам не рад будешь.

– А ты, мамочка, не ругай папу. Он тебя не ругает, – деловито распорядился Степанка. – Ну, хватит, пап, спускай самолёт на землю...

Когда внимательно пригляделся к столу, то заметил непривычные для обеденного часа блюда: вместе с жареной рыбой стояли блины и кисель.

– Сегодня, Саша, полгода после смерти Иосифа Петровича. Надо помянуть. Много бед перенёс, – сказала Марина.

Я поглядел на неё, оторопело смущённый.

– Извини, не подумал... Надо... О старике забывать нельзя. Только почему говоришь – много бед перенёс?

– Ты ещё не знаешь, как он жил тут. Всё стряслось после пожара. У нас тогда сгорел склад. У Иосифа Петровича погибли чуть ли не все семена... – Маринка рассказывала, заметно волнуясь и едва сдерживая близкие слёзы. На лицо то набегала, то исчезала сумрачная тень.

– Это в самом деле?

– Я же напрасно говорить не стану, Саша. Сама пожар видела, бегала тушить, воду в ведрах с речки носила. Да не помогли... Всё дотла взялось пеплом... Иосиф Петрович сам едва не сгорел. Схватился большой с постели. Прибежал, кинулся в сарай, а там пламя бушует. Оттащили мужики, не дали в склад пробежать. И то лицо опухло жаром. О-ох, Саша, что было!.. Назавтра его взяли под стражу.

– За что? – перебил я сгоряча Маринку.

– Заподозрили в поджоге... или по кляузе. Кто знает, Саша, нам ведь ничего не объяснили, – Маринка налила в стаканы тягучего кагора. Наступило грустное молчание. Оно напомнило, как мы в перерывах между боями находили короткие минуты, чтобы отдать скромную дань почести похороненным товарищам. Тогда мы, стоя у свежих могил, вынимали, если случалось, фляжки со спиртом и выпивали свои «боевые сто грамм», клялись павшим вечно хранить о них память и беспощадно уничтожать заклятого врага. Я вспомнил об этом, наверное, потому, что видел Иосифа Петровича похожим своей гражданской мужественностью на солдата...

Пожалуй, сегодня я впервые в своей жизни чувствовал себя за столом как человек семейный, рад был домашнему уюту и близости к родным людям. Впервые подействовала благотворно, подбодрив и воодушевив, рюмка выпитого вина. И можно было считать себя вполне счастливым, если сидели бы рядом самые близкие и дорогие мне люди. Я бы хотел побыть с отцом и матерью, с Иосифом Петровичем и однополчанами, расспросить их о житье-бытье. Вспомнив о них, я, может, совсем некстати увлёкся размышлениями. Подумалось о многом. Мама представилась мне жизнерадостной женщиной, принявшей моё возвращение с фронта и калеккой как большую награду за свою справедливость и просьбу (кому только она ни относилась!) пощадить сына на войне. Иосиф Петрович в моём воображении рисовался необыкновенно восторженным стариком. («Ведь говорил же я, что надёжно постоит за свою Родину русский народ. Говорил! Так и вышло. И ждал Саню своего с победой. Пришёл! Дело наше продолжит. Теперь и успокоиться можно».) Однополчане тоже ликуют, радости ихней предела нет, и им всё ещё не верится, что кончились фронтовые дороги, и сидят они за семейным столом. Отец тоже будто тут в кругу фронтовиков и равняет с ихними свои тыловые дела. Солдаты с ним соглашаются: «Ты, батя, чести людской, призвания хлеборобского не посрамил!» Выше награды старику и не надо... Много таит похвала фронтовиков... Но что с Мариной? Не пошутит она, не рассмеётся. Насторожена. Пытаюсь понять её отчуждённость.

– Ты здорова, Марина?

– Хвори пока минуют.

– А что скучна? День такой нынче – трудный?

– И день... И вообще... Разные дурные мысли в голову лезут. О том и думать не хочется, а всё равно думаю.

– Отвлекись интересным делом, – советую. Марина кротко улыбнулась:

– Не могу. Как отвлечёшься, если не спадает тревога. Она – от тебя.

– Ну!.. Серьёзно, Марина?

Она не ответила. Повременив, вылила из бутылки в стаканы остатки вина и пригласила выпить. Подумав, произнесла тост:

– За благополучие и спокойствие...

Не обратил я попервости внимания на обыденные слова и только после того как, согласившись с её желанием, выпил одним ёмким глотком вино и, посидев некоторое время как бы в приятной отстранённости от всего окружающего меня мира, задумался. Почему же сказала Марина такой, как мне показалось теперь, отдалённый от нашей жизни тост. Могла бы другой – поближе, роднее, ну, к примеру, за здоровье Степанки. Вот он тут сидит между нами, зыркает глазами, что бы съесть повкуснее да умчаться на улицу – сверстники уже крутятся у ворот и кличут играть в прятки. Или бы – за здоровье живых и упокой ушедших из жизни родителей.

Нет, неспроста выплеснулась её душа. И я против своей воли пристально посмотрел на Марину. В эту минуту на её порозовевшем лице обозначилась непокорно-грустная улыбка, в туманных от влажности глазах, вынося сгусток печали и тревоги, метнулись колючие огненные искры. Я подумал, что Марина перешагнула какую-то ощутимую лишь ею грань и решилась наконец-то открыть мучившую её тайну. Предчувствие моё подтвердилось.

Она вдруг поднялась из-за стола, открыла форточку и попросила Степанку захлопнуть ставни окон. Я взглянул на неё с удивлением: закрывать рано, ещё не наступили сумерки и, конечно, сидеть в избе при тусклой лампадке, когда на улице светло, скучно и неудобно. Однако, зная, что хозяйке виднее, что делать по дому, перечить не стал.

Зажигать лампу она не стала и села рядом, положив руки на мои плечи. С сумерками, густо заполнившими всё пространство нашего жилища, к Марине наплыло воспоминание. С первого её слова я понял, почему закрыты ставни (чтобы наш разговор не подслушали у окон).

– В такую вот пору, месяца три тому назад, – сказала Марина, – ко мне приходил мужчина из НКВД...

Сказала и смолкла, как будто спохватилась, не зря ли затеяла этот разговор. И я не сразу нашёлся, что ответить. Марина заметила моё замешательство и поторопилась объяснить.

– Не подумай о чём-то плохом, Саша, – Марина глубоко вздохнула. – Разговор касался тебя. Ну, конечно, заодно и меня.

– О чём?

– Энкавэдэшник расспрашивал, где ты... откуда были письма? Когда? Сколько времени нету вестей? Со слов моих всё записал в протокол опроса и дал его подписать.

– И ты? Подписала?

– Ага.

– Не побоялась, что затеяли пакостную штуку?

– Я правду сказала.

– А хоть спросила – зачем?

– Спросила, но не знаю, так или иначе – энкавэдэшник ответил неохотно, мол, надо проверять факты. Допытываю – какие? Поухмылялся, не спуская с меня своих узких глаз, и всё же уточнил, что поступило письмо на мужа, то есть на тебя... Что будто бы ты не солдат, без вести пропавший, а предатель, изменник Родины и находишься в плену. От этих жутких слов я обомлела.

– Ты испугалась тогда? – спрашиваю Марину.

– Нет. Я схватила со стола протокол, разорвала на мелкие клочья и швырнула ему под ноги. «Затопчи! – говорю. – Прибавится совести...» Он рывком отвернулся от меня и вышел, размашисто хлопнув дверью.

– Напрасно протокол испортила, – сказал Марине.

– На душе спокойнее стало. И то всю ночь без сна провела. Всё думала, что будет дальше? За что же выпала на нашу долю такая мука? Кто приложил руки к доносу?

Я перебил её мысль:

– Ладно, Марина. Время всё расставит по своим местам. Каждый получит то, что заслужил. А кстати, ты фамилию этого гэнэушника не помнишь?

– Кажется, не то Сёмкин, не то Семенюк.

– Наверно, Семенюк. Мордастый, лысолобый детина? И глаза – пороссячи.

– Ты знаешь его?

– На призывном пункте встречал, когда медицинскую комиссию проходили. Чуть не все болезни себе приписал. Открутился, чертяка, попал на службу в тылу. Ловкач! Интересно было бы встретить его. Я бы рассказал ему, где был и что видел...

– Ты и со мной-то ещё словом не обмолвился.

– Тебе-то зачем?

– Надо... Спросят ребятишки про тебя, а не знаю, что ответить... Тебе, наверно, тяжело вспоминать пережитое.

– Да нет. Кое-что недавно рассказывал Ефиму Тихоновичу. И тебе много не буду... Может, после когда-нибудь...

* * *

На фронте делали то, что следовало солдату. Тогда пришлось мне выполнять основную свою работу – держать между пехотными подразделениями телефонную связь.

Во время боя в одной из рот батальона она прекратилась. Выбрался из окопа, пополз. Стараюсь, где можно, поглубже зарыться в снег. А пули так и клюют вокруг меня. Нашел место разрыва. Провод соединил. Проверил. На вызов отозвался батальонный: «Молодец, товарищ Егоров! Двигай обратно!» А в эту минуту чуть поодаль рванул снаряд. Меня подхватило вместе с комьями мёрзлой земли. Оглушённый упал в глубокую воронку – отдыхай, навоевался! Нашли полуживого... Самое тяжкое оказалось потом, когда уже многое повидавший доктор осмотрел обмороженные ноги и руки. «Плохи дела, солдат, – не скрыл он тревогу. – Руки, может, спасём, ноги – едва ли. Здорово, братец, прихватило». Много дней лежал в бреду, у самого порога смерти.

Одну ночь, говорила медсестра, даже пришедший в сознание всё ещё бредил. Будто встретил тебя и не поверил.

– Почему?

– Чудной какой-то представилась.

– Померещилось, что ли?

– Мне показалось, что всё наяву... Будто лежу я в землянке, после контузии, куда привели меня румын Антонес и санитарка, красивая русияночка Маня. И бог весть откуда-то явилась ты, Марина, и, склонившись к изголовью, сказала:

– Я пришла к тебе, Саш.

– Кто ты?

– Твоя жена, Марина, – тормошишь, качаешь за плечо. – Что ты закрыл глаза? Посмотри.

– Ты – не Марина.

Передо мною стояла совсем юная дивчина, вроде ты и не ты. Одетая в длинное чёрное платье, от неотразимой улыбки блуждают на румяных щеках неглубокие ямочки. Вижу: твои ямочки. И волосы твои, русыми спиральками выбивают на виски из-под чёрной косынки. А сама ты – не Марина. Повторяю сердито, нетерпеливо:

– Кто же ты – говори! Улыбаешься:

– Не узнаёшь, Саш? Скоро пошто-то забыл меня. А я вот помню, пришла проводить тебя.

Я вздрогнул:

– Куда?

– Куда провожают мёртвых... Я – молодая смерть. Ты юный, и я тоже юная. Старые приходят к пожилым.

– Тогда ты – не Марина, не жена моя, раз отправляешь меня в преисподнюю.

– Разве жёны не провожают туда мужей? Провожают! Ты посмотри, сколь их тут лежит – и ко всем пришли, все напоследок хотят повидаться. Не веришь? Пойдём, я тебе покажу.

– Отойди! – отталкиваю я слабой рукой красивую дивчину. – Отойди! Холодом от тебя веет.

Смеётся, белые точёные зубы напоказ выставляет, вроде торопится что-то доброе сделать, а сама от своего не отступает, говорит:

– Как я могу отойти, если ты жив последними вздохами... Не сердись... Я-то здесь ни при чём, родной, – немец у тебя жизнь отнял... Пришла свой долг последний исполнить. Подымайся. Пойдём.

Она взяла меня за руку, приподняла с нар и вывела из землянки. Над местом побоища густилась, потрескивала остывавшим металлом декабрьская стужа. Холодно, безразлично гля-

дела луна, под её скучным светом мрачно зияли провалы бомбовых воронок, неподвижными чудовищами громоздились исковерканные танки и орудия.

Дивчина шла впереди меня, шла уверенно, как будто не раз бывала и проложила свою тропу. Значит, это не ты была, не могла быть. Явилась истинная смерть и, чтобы не испугался, обрядилась в молодую красивую дивчину. Сообразила же, как подкрасться, хитрованка! Куда от неё денешься, посмеивается и ведёт, держа руку, не отпускает. Ей весело, она при своём природном деле... Не омрачают её скрюченные, обледеневшие трупы чужих и наших солдат. Те и другие лежат в коряжных причудливых позах, одни – вразброс другие – рядом. Не хмурятся и не ссорятся, смерть примирила. Тверда её воля, всеобъемлюща власть...

Замечаю, как будто дивчина рада мирному состоянию моих и чужих солдат, увидела то, что хотела – и радуется. Разве же это Маринка?.. Она залилась бы слезами, а эта ликует, как на богатом пиршестве. Истая смерть, ненасытная!

Подошли к глубокой воронке, остановились перед её краешком. «Вот твоя, – говорит дивчина, – вечная обитель. Как захолодеешь, я опущу тебя на самое доньшко и зарю. Хорошо это, потому что буду знать, где проведать. А когда придёт мой черёд – местечко отыщется рядом с тобою... Порадуйся же! Больше тебе на этом свете ничего не остаётся, последняя утеха твоя. И на прощанье дай поцеловать тебя...» – Теперь вроде бы чувствовал тебя рядом с собою, слышал твой голос, и столь упрямо было моё желание обнять, что я зашёлся в истошном вопле: «Маринка!.. Маринка!..» Никто не отозвался. Ещё причудилось там же, в землянке, поле с моей пшеницей. Широкое, неоглядное поле с колосистым хлебом. Иду, а мне будто кто-то со стороны кричит: «Хлеб чужой не топчи!»

Оглядываюсь и вижу Геннадия Комаркова... Откуда, думаю, он взялся тут? И себя же ругаю за то, что думаю. Поле-то в самом деле Геннадиево. Он дома остался и вырастил такую пшеницу. Неоткуда быть ей моей. К чему всё это чудилось?

– Не знаю, Саша, снам я не верю.

– Верь не верь, а связь сновидений с действительностью существует. Видишь же ты в них то, что живёт вокруг нас... Повезло: всё-таки убежал от смерти.

Марина слушала, затаив дыхание, а в глазах её всё ещё утаивалась, не решаясь показаться, чужеродно прильнувшая стыдливость.

– А пошто, Саша, не писал так долго письма?

– Не надеялся выжить. От плохого письма тебе бы легче не стало.

– Хоть знали бы, где ты. А то...

– Что?

– До сих пор боль не отходит... Что говорили тут, как писем твоих не стало. Такого наслушалась... Раз без вести канул, то посчитали, будто сдался фашистам.

– Кто же это так насмелился?

– От Геннадия слышала. Да многие так подумали. С чего взбрело такое им в голову – не знаю. – Марина склонилась в раздумье и, словно отгоняя от себя худые мысли, продолжала говорить: – Сколько пережила, передумала...

– А я? Даже когда был при смерти – всё равно ты и Степанка были со мною.

– Всё спрашивала себя: неужели мог Саша?! Мог ли решиться? Ушёл на фронт добровольцем.

– Поверила наговорам?

– На фронте, Саш, всё могло быть. И в плен уходили.

– Попадали и уходили. Попадали нечаянно, раненых увозили. Уходили изменники.

Марина подняла голову и серьёзно поглядела на меня:

– А ты, окажись в такой трудности, – мог расслабиться?

– Нет, Марина.

...Наконец-то услышал Маринин голос – говорила она от чистого сердца, так долго хранившего печаль и неведение. Вот почему она не торопилась посвятить меня в жите-бытье близких родичей и сторонилась разговора о них. Сегодня разоткровенничалась, рассказывала охотно, частенько упоминала моего отца и дивилась тому, что всю войну живёт старик в своём селе Хлебном...

Известие и меня удивило. Три письма, которые только и смог я получить, послал отец из Бадара, где обосновался в начале войны. Там надеялся застать его и сейчас.

И вот тебе на: отец в Хлебном! Что потянуло его туда? Могилы моей матери, сестрёнки Аниски и братишки Луки? Может, они, могилы – вечный знак памяти и печали.

У Марины со Степанкой отец бывал не часто – от силы раз-два в год. Приедет на верховой лошадке, привезёт таёжных гостинцев – ягод, грибов, орехов, – посидят втроём за разговорами у самовара – и через два-три дня снова в Хлебное. Пожить дольше никакие уговоры не помогали. Звала, не отпускала надолго родная земля. Покинутое людьми поле хлебное!

Пришёл отец, сказывала Марина, к председателю бадарского колхоза и попросил лошадь. Мол, так и так, в Хлебном есть плодovitая пашня. Дозволит председатель, то есть даст лошадь, – можно выращивать хлеб и отдавать государству. Война... Хлеба много надо. Председатель попервости едва из конторы не вытурил. Тебя, говорит, старикан, с единоличными замашками на Соловки следует отослать. Отец ответил, что нет разницы, откуда получают солдаты лишний ломоть хлеба – из колхозной бригады или же с его, егоровского, поля, – было бы что! Убедил. Согласился председатель. И не прогадал – за два года с того поля сняли четыреста центнеров пшеницы.

– Выходит, отец тоже воевал! А давно ли был он тут?

– Давненько. Ещё по весне. Оттуда, из Хлебного, добраться сейчас очень трудно.

– Почта-то хоть туда ходит? Известить бы отца...

– Какая?! Случаем кто принесёт весть – и всё. Ни телефона, ни радио, дикая глухомань.

Отжила свой век деревушка.

– Могла бы ещё пожить, сама себя кормила-поила.

– Да как же народу-то жить в глуши такой, Саш?

– Живёт отец да ещё и других кормит.

– Наш отец одержимый. Таких людей мало осталось. Война прибрала.

– Да, сейчас каждая пара крестьянских рук на учёте. Чуть осмотрюсь, силёнок поднакоплю – и на службу. Не всё сделано, что могу.

– Дел разных и по дому тебе хватит.

– Те дела, Марина, знаешь какие – справятся и попутно. Вместе с тобой и Степанкой. В помощь отца из Хлебного вызволим. Пора пожить старику на людях.

В этот вечер мы засиделись.

Под конец снова зашёл разговор об Иосифе Петровиче. Пусть будет вечной память ему...

– Пусть, – тихо повторила Маринка.

Ещё несколько минут мы сидели, погружённые в тягостное молчание. Пожар... Арест... Эти два случая, их причины, о которых не успел сказать секретарь райкома, легли в мою голову неразгаданной тайной.

– А что было потом, ты помнишь? – спросил я, не надеясь на достоверный ответ.

– Что было? Месяца через три Иосифа Петровича освободили... Пришёл еле жив... Заступился Округин. Ему спасибо. Но всё равно старик долго прожить не смог.

Чем больше думал, тайна уходила всё дальше и дальше. И казалось – мне не разгадать её никогда!

Глава VIII

Вскоре после происшествия на Ние, вечером, когда Маринка ещё не вернулась с работы, ко мне пришёл Комарков.

– Сань! – грохнул он с порога, привычно по-богатырски раскинув руки.

– Встречай гостя! Да извини, без приглашения. Ждал, когда позовёшь на встречу... Помалкиваешь?! Не чтишь друга...

– Не успел с дороги одуматься.

Комарков прошёл в передний угол и сел возле окна с видом на нашу нелюдную улицу.

– Ты не против, что я вот так к тебе – по-свойски? Тогда позволь... – Комарков, и до того подвыпивший, вынул припрятанную за пазухой бутылку водки, без предосторожности с глухим деревянным стуком поставил на стол.

– Выпьем, солдат. Учёный и солдат.

– По какому случаю?

– Брось, ты, Сань, о каких-то случаях. Просто выпьем – и лад. По-свойски, – распахнулся всей душой Комарков и чуть погодя, одумавшись, повёл назад. – Выпьем не просто. Есть основательный повод: воздадим славу моему спасителю – тебе, Сань. Ради меня рисковал жизнью... Давай посудыны.

– Да некстати затея, совсем ни к чему. Был бы праздник какой – туда-сюда.

– Не похоже на фронтовика. Маринки струсил, что ли? А-а! Ну, дело твоё. Сам не куражусь и куражливых не люблю... Я выпью. При тебе, в твоём доме выпью один.

Комарков налил полный стакан водки, снова пригласил меня за компанию. Я отказался, принёс кое-какой закуски.

Никогда не завидовал тем, кто пьёт зелье, а вот сейчас, глядя на осушившего залпом стакан водки Комаркова, подумал: здоровому сильному человеку всё нипочём, я и при желании так бы не смог.

Комарков пьянел на глазах, лицо его мрачнело, и весь он содрогался от какого-то внутреннего пружинистого движения. Подумалось, обиделся на меня за отказ составить ему компанию. Я был готов выслушать его упрёки, а не то, что услышал. Комарков грохнул увесистым кулаком по кромке столешницы, аж дрогнул пол. Крикнул пьяно-развязно:

– Санька!.. Говори!

Я сидел, оглушённый его вопросом.

– Что?

– Зачем ты полез за мною в Нию? Ну? Зачем!

– Ты же тонул!

– Туда и дорога. Только туда... Не надо было спасать меня, Санька.

– Да ты что?

– Не надо было, говорю. Лучше бы мне утонуть. А жить? Тяжко, невыносимо. Не-в-выно-симо!

– Оставь шутки, Геннадий. Протрезвишься – тогда и поговорим. Комарков уставился лицом в сумеречный угол, потом резко повернулся ко мне и сказал с надеждой на сочувствие:

– Боль души. Не чужой – собственной. Ты уловил?

– Боли – никакой.

– А что?

– Погребальное нытьё. Похмельная печаль. Испарится водочный дух – и бред из головы вылетит.

– Оскорбляешь меня, Санька. Значит: не понял...

– Может быть... – Я всё же догадывался, что Комарков зашёл ко мне не случайно.

Комарков, не допив остатки водки, отодвинул бутылку с закуской на край стола, стеснительно поводит могучими плечами, заговорил, пытаясь скрыть волнение.

– Слухи тут шли, Сань... Одно время... Может, кто говорил тебе.

Я не был дружелюбен ко всякого рода шептунам и никогда не передавал что-либо случайно услышанное и потому сомнительное другому, а вот сейчас соблазнился вызвать Комаркова на откровенность.

– Слышал, – ответил я Комаркову. – Если про то речь – о пожаре, о горевших семенах и об аресте Соснова.

– Да-да... как раз... Облили меня грязью, с ног до головы. Ты, знаю, слухам не поверишь.

– Да говорят всё же о том, что было: склад полыхал, семена сгорели и Соснова арестовали.

– Всё верно, Сань... Ложь – что меня приплели к делу! Я ни при чём. Сном-духом ни о чём не ведаю.

– Молва, что морская волна – нахлынет и отхлынет, берег останется. Что тебе, безвинному, молва? Забудь.

– Не могу... Заступись, Сань, береги.

Разговор, осложняя разгадку, уходил, уходил в глубь прошлого. Наступила пауза. Комарков ждал от меня ответа. Что сказать, я не знал.

Только про себя предположительно подумал, что, может, Комарков по какой-то случайности причастен к пожару, а признаться не хочет – виноват, так придётся ответить. А может, его призыв о помощи ко мне чистосердечен.

После затянувшейся паузы Комарков спросил:

– Сань, ты хочешь знать, как всё это было?

– Да. Я сам думал спросить тебя об этом.

– Больно мне... А всё же расскажу. Осенью беда случилась. Соснова подстерегла болезнь. Последние два года стал прихварывать он часто. В постели не лежал, больше переносил хворь на ногах, а на этот раз не устоял, едва мог выйти в ограду на прогулку. Пригласил меня домой, наказал, что делать. Особо беспокоился о сохранности селекционного материала. Велел собрать, связать в снопы и положить на хранение. Снопы хотел обмолотить потом сам.

Наказ его выполнил... А сейчас думаю, зря послушался... Соснов настоял положить «таёженку» в деревянный склад. Сколько я ему ни внушал, что это опасно, он и слушать не хотел. Всё упирал на свой опыт и практику... Не смог я переломить его упрямство и послушаться не посмел.

– Выходит, Соснов сам себя наказал.

– Да, Сань... И наказал жестоко.

Комарков прервал рассказ и вроде испуганно оглянулся, поводит по углам настороженным взглядом – нет ли кого ещё, кроме нас двоих, в доме, и, не найдя ничего подозрительного, успокоился.

– Вышло так, что не надо было ни о чём беспокоиться – всё погубил огонь.

– А как пожар-то возник – установили?

– Как установишь? Никто руки-ноги своей не оставил!

– За что же тогда Иосифа Петровича посадили?

– Пало подозрение... На него... Соснова.

– А ты, Генка, почему не заступился?

– Я сам едва не угодил за решётку...

– Значит, спасал прежде всего себя?... Свою шкуру! – крикнул я в злости. – И занёс над Комарковым попавший под руку костыль.

Глава IX

Ужаснулся – без всякого доказательства, всего лишь по некоторым предположениям обвинил Комаркова в тяжком преступлении, назвал виновником и пожара, и последовавших за ним событий. Я пока об этом ему не сказал, потому что совсем недавно пришёл к страшному выводу. Он возник каким-то необычным образом из нескольких разрозненных фактов, каждый из которых в отдельности не давал оснований для обобщения. А тут звенья пришлись друг другу.

Всё началось после разговора с Маринкой о пожаре в бессонную ночь. Вечером того дня в долине Нии надумал пойти дождь, с севера подкрались тяжёлые, в гигантских подбеленных клубах, синие тучи, долго они настороженно стояли на одном месте, а ночью, когда всё живое заснуло и успокоилось, разразились тихим и тёплым дождём. Когда я услышал его частый стукоток по тесовой крыше, представил, что в момент пожара кстати пришёлся бы ливень, он не дал бы расселиться огню и люди справиться бы с ним сумели. Теперь я уж не мог остановить мысли. Думалось и думалось о том, почему возник пожар. Странный вопрос – почему? Да мало ли всяких причин? Могла погубить всё нечаянно брошенная пьяным спичка или случайно зароненный окурок. И не хотел человек беды, а вызвал.

Потом представил, как Иосиф Петрович сидит перед следователем и пытается отстоять свою честь. Я слышу его ровный голос: «Никакой вины за мной нет. Подозревать меня в поджоге жестоко и глупо!» – «Не упорствуйте, гражданин Соснов, – это твердит следователь, и я тоже слышу его жёсткий голос. – Только вы с очевидно недоброй целью положили в этот склад семена. Знали, склад не безопасен. Строение деревянное, старое. Рядом – кирпичное хранилище. Положи семена в него – были бы в сохранности!» – «Спокон веков берёт семена в старом помещении. Строил его сам, бросать не хотел». – «Вот и результат упрямства». – «Очаг огня возник изнутри».

Следователь хмурится: «Значит, огонь туда кто-то занёс! Не случайно. Оплошность какая-либо исключается. По-моему, так. А вы как считаете?» – «Я тоже думаю, оплошности тут нет. Пожар – последствие злого умысла». – «Кто бы это мог быть?» – «Кто знает. Никаких улик не осталось...»

Отметая сомнения, склонился к мысли, что поджог совершил близкий Соснову человек. Делал он это для того, чтобы убрать его с пути и воспользоваться частью добытого им селекционного материала. Кто? Предчувствую: Комарков. О его преступлении, похоже, знает Ефим Серебряков, потому-то он и говорил, что Комарков сидит «на рыболовном крючке»... А исчезнувшее название пшеницы! Это, пожалуй, самое главное последствие того, что произошло ранее.

Я лежал в постели, и в моём разгорячённом воображении одна за другой проходили живые картины того, о чём думал. Будто наяву, я видел, как глухим переулком подкрадывается к хранилищу Комарков. Чёрная одежда его слилась с тёмной ночью, человека не видно – ни тени, ни его самого. Он днём высмотрел, в какое место забросить огонь, и сейчас действует уверенно, без заминки. С потолка вовнутрь склада падает подождённая куделя. Угодила как раз на необмолоченные снопики хлеба. Довольная ухмылка пробегает по сосредоточенному хмурому лицу – человек сделал задуманное. Потом, переодетый в рабочий костюм, Комарков успевает прибежать к запылавшему сараю вместе с первыми односельчанами, он огорчён случившимся, мечется вокруг огня, довольный в душе его неудержимым буйством...

На какое-то время я поверил в свой вымысел. Не поверить самому себе не мог. И всё же это была только догадка, никакими доказательствами пока не располагал и посчитал бы себя счастливым, когда всё, о чём думал, оказалось бы неправдой. Тогда никто и никогда бы не узнал моей тяжкой думы, поделиться бы ею с кем-либо я посчитал преступлением.

Дождь не утихал. Слышно было, как с крыши непрерывными струями шумно стекала вода. Касаясь земли, потоки гулко булькали в лужах, расплывались и на короткое время затихали – тогда я улавливал тихое сонное дыхание лежавшей на соседней кровати Маринки, рядом с нею тонко посвистывал Степанка.

Остаток ночи, как быстрая птица, промелькнул неслышно, бесследно – сомкнул и разомкнул веки, и вот уже в окна наплывает светло-розовая туманность. Народился новый день. Без шума, как только могла, осторожно, стесняясь разбудить меня и сынишку, поднялась с постели Маринка. Она думала, что я, как и Степанка, ещё не проснулся.

Маринка, босоногая, в коротенькой ночной рубашке, проскочила на цыпочках мимо, обдала постельным теплом и остановилась у старого, местами с отставшей краской гардероба – изделия местного мастера. Конечно, приобрела платяной шкаф Марина случайно без меня, такого приданого ни у неё, ни у меня не было. Я не успел узнать и того, какие вещи хранит там Маринка, что она могла приобрести в такую тяжёлую пору. Постояв некоторое время возле раскрытого гардероба, она наконец сняла с плечиков коричневое, с белой оторочкой по невысокому стоячему воротнику и обшлагам нарядное платье и повесила его на спинку стула. Догадался: Маринка готовится идти в этом платье в школу. Почему не в другом, не в рабочем, как было до этого дня? Есть какая-то причина, да простится мне, столь неурочная настороженность. Опять всколыхнулась фронтовая привычка – быть чутким ко всякой обыденной мелочи на войне.

Сию же минуту Марина накинула на плечи простенький, уже выцветший халат из ситца, юркнула в кухню и принялась готовить завтрак. Затрещал в плите припасённый с вечера листовенный сушняк, кухня ожила – зашипело что-то на сковородке, вздрогнул от забурлившей воды чайник, через какие-то минут десять – пятнадцать Маринка вышла в спальню, полунаклонившись над моим изголовьем, спросила вполголоса:

– Ты, Саша, не спишь?

– Как ты встала, и я разбудился.

– А зачем? Тебе же не на работу. Отдыхай. Как встанете – покушаете, завтрак готов, да слишком не медлите – остынет... Я тороплюсь, у нас сегодня в школе последний урок.

Она неспешно сложила в простенький ученический портфель тетради, учебники, переоделась в нарядное платье и собрала, глядясь в зеркало, куколкой на затылке светло-русые волосы. Всё это делала она аккуратно, а когда закончила сборы, отошла подальше от зеркала оглядеться. Видом своим Марина, должно быть, осталась довольна. Никакого восторга не выразила, а я заметил это по её вдруг родившейся яркой улыбке. Вот когда я снова узнал Маринку в пору её юности. Улыбкой такой нарушила она когда-то моё меланхолическое спокойствие.

...На летней, пёстрой от разноцветья прибрежной лужайке весенним потоком бурлило веселье. В воскресный день сбежалась сюда, в единственное по тому времени место для отдыха, вся наша деревенская молодёжь. Который раз сходились уже на круг с песнями и плясками хмельные от радости и счастья парни и девушки. Чему мы радовались в ту пору? Сейчас, кажется, и нечему было. Как-то незаметно это затмилось, отошло в прошлое и кажется теперь неинтересным. А было между тем всё просто и забавно. И радость, глубокая и светлая, рождалась силой и молодостью, берёзками с нежной, только что начавшей дышать листвой, высоким глубоким небом, зелёной травой – рождалась жизнью, её здоровым, могучим дыханием.

Я стоял под тенью невысокой молоденькой ивы. Было своё право уединиться. Поглощали, беспокоили заботы о малознакомом деле. Неуверенность и растерянность брали тогда во мне верх. Такая, должно быть, участь любого, кто делает первые шаги в своей самостоятельной жизни. Но я терялся не потому, что был к ней не приспособлен, а думал о том, смогу ли я оправдать своё назначение. Все мысли мои сходились на хлебной ниве, и я буквально пытал себя вопросом, когда появится на ней моя собственноручно выхоженная пшеница. Когда? Когда?

Когда?.. Томила мысль и лишала покоя. И, отгородив ею себя от шумного празднества, я стоял, пытаюсь предугадать своё будущее.

Она, дивчина, расплывшаяся в стремительной пляске, неожиданно вырвалась из живого подвижного круга и подбежала ко мне вся солнечная, играющая. На ней переливалось луговыми тёмно-голубыми колокольчиками, с подолом ниже колен, лёгонькое ситцевое платье. «Запятнала – отпятнай!» – и мотыльком порхнула к берегу, унося не погасшую яркую улыбку.

Ах ты, стрекоза! Я, спохватившись, со всех ног метнулся за нею вдогонку. Во мне разом загорелась страсть ни за что не уступить шаловливой девчужке, ни с того ни с сего вызвавшейся со своими «запятнашками». Если бы желал, так и без неё суетился бы вместе со всеми на лужайке! Чего-то захотела, стрекоза?

Она бежала ловко, сноровисто, виляла меж ивовых кустов, я видел пока только колыхавшийся за её спиной подол платья. «Всё равно догоню! Скоро перед берегом Нии – обрыв, возле него ты остановишься и повернёшь потом влево, я пойду наперехват». План мой сбылся, так и вышло. Я вынырнул почти незамеченным навстречу ей из-за кустов – дивчина оказалась в моих объятиях. «Попалась! Не уйдёшь!» – «Чур, правила не нарушать... Запятнай, а ты сразу... Отпусти». – «Раз попалась, птичка, стой...» – «Закричу. Стыдно тебе будет». – «А тебе? Кричи». – «Мне-то чего? Я не виновата». – «Вот поцелую и отпущу». – «Выдумал!.. Меня ещё никто не целовал». – «Так уж...» – «Не веришь – и не верь, не заставляю. И не хочу, чтобы меня чужие целовали...» – «Я свой, не чужой»...

Она разговаривала, наклоняя голову в сторону и искоса поглядывая на меня, на лице лучилась усмешливая улыбка. Но я всё-таки высторожил подходящий момент, когда она, успокоясь, прямо глянула на меня, поцеловал её: «Вот тебе запятнашка. Отпятнай...» – Она отвернулась, вдруг сникшая и задумчивая. Опустил с горячих её плеч руки и тоже застыл с мыслью, будто кончилась дальняя дорога, и я остановился у её самого-самого конца. Между тем эта дорога только начиналась, я сделал по ней всего лишь полшага.

Одумавшись, спросил дивчину:

- Как зовут-то тебя?
- Разве не слышал? Ой, какой невнимательный!
- Мимоходом слышал. Не запомнил.
- Марина, – глянула повеселевшая. – А тебя?
- Александр. Александр Егоров... Ты учишься, Маринка?
- Ага... В университете, на биолога.

Мы пошли к поляне, оттуда всё ещё доносились переливчатый дивичий хохот и повелительные ребячьи голоса. Шли рядом, время от времени переговаривались о чём попало. Маринка заметно стеснялась...

* * *

Я проводил Маринку в школу, вспоминая ту нашу встречу и первый уворованный поцелуй. Вот ведь какое приметное событие, прошли годы, а оно лежит в голове целёхонько, да и вряд ли выветрится когда, потому что таит много смысла и неповторимого чувства.

Завтракали мы со Степанкой вскоре после ухода Марины, сидели за столом рядышком, поминутно оглядываясь, будто охраняли друг друга. Степанка выпался хорошо и сейчас ел со здоровым аппетитом всё подряд. Выскочил он из-за стола поперёд меня.

- Теперь, папка, айда на улицу... – и показал рукою на дверь. – Хочу играть.
- Как играть-то будем, сынка?

– А в войну, папка... Ты будешь немец, а я – красноармеец. У меня есть автомат, он деревянный, а трещит, тебе дам гранату... Ладно?

- Ну что же, согласен. Пойдём.

Боевые позиции мы должны были занять на опушке небольшого перелеска за оградой. Как более опытный, я поставил задачу – Степанке надлежало отыскать меня и взять атакой. Победа предполагалась в том случае, если наступающий обнаружит врага, пока тот ещё не открыл огонь. Степанка беспрекословно принял условия, и мы разошлись в разные концы перелеска. Я далеко не пошёл, поблизости попался добрый, обхвата в два, древний лиственничный пень, спрятался за него, стал прислушиваться да поглядывать в противоположную сторону, оттуда должен был появиться «неприятель». Мне не хотелось портить настроение мальчишке, чувствовал, что он полон азарта выиграть, и потому сел за пнём, пренебрегая осторожностью. Хватит оглядываться – навоевался! Неожиданно позади услышал шорох и не успел осмотреться, как гулками отрывистыми щелчками застрочил автомат.

– Ура-ура... Р-руки вверх! – Степанка нёсся, приближаясь ко мне, не опуская своего оружия. Пришлось сдаться, да и не по своей воле. Хотелось облегчить парнишке победу, а он обошёлся без помощи, взял неприятеля ударом с неожиданного направления. Я похвалил парня за находчивость.

Отдышавшись, Степанка опять помчал по поляне – рвать цветы: колокольчики, ромашки, жарки, они кучками то там, то сям виднелись по всему перелеску, и вернуться домой без букета для матери Степанка, конечно, не мог. Я знал, что на поляну он бегал и раньше и тоже приносил цветы, дарил матери, она ставила их в вазу с водою. Я сидел, теперь уже на пне, и наблюдал за мальчонкой. Было приятно видеть его, озабоченного, серьёзного. Минут через десять он подбежал ко мне радостный:

– Папка! Пойдём со мной.

– Куда?

– Вон к той высокой берёзе. Там какие-то книги.

Я пошёл и убедился, что, действительно, вывалили здесь ворох всякой всячины и среди разного хлама – целые связки бумаг.

Говорят, в жизни бывают случайности. Не верю! Всё идёт своим чередом, движется по своим законам, потому что всё взаимосвязано и взаимообусловлено. Но, возможно, кому-то покажется странным, если скажу, что Степанкина наблюдательность самым серьёзным образом повлияла на мою дальнейшую судьбу. В связи с валявшимися, теперь, естественно, ненужными никому бумагами я вспомнил об Иосифе Петровиче. И как мог забыть?! Непростительно. Ведь я же видел когда-то тетрадь с надписью на колленкоровой обложке: «Дневник И.П. Соснова. Начат в июле 1900 года».

Возникло неодолимое желание узнать, сохранился ли он?

Я знал, что Иосиф Петрович держал тетрадь в тайне. О ней могла, кроме меня, знать лишь жена учёного, тихая, покладистая Маргарита Максимовна. Но она вскоре после смерти мужа уехала к родственникам на Дальний Восток. Розыски её сулили хлопот немало. К тому же она могла припомнить лишь, в чьи руки попал архив учёного, с собою же его могла не взять.

Ранним утром я уже сидел на крыльце поселковой библиотеки и ожидал её хозяйку. Рассчитывал на удачу. Почему-то мне казалось, что дневник в шкафу, рядом с другими научными трудами Соснова. Где же ещё быть? По праву и по долгу – там.

Вот и пожаловала Вероника Михайловна Полынцева, всегда улыбочивая, приветливая, уже преклонных лет женщина.

– Саша Егоров?! Как долго не виделись... Проходи, дорогой. Я помню место в зале, где ты всегда сиживал, читая.

– Благодарен, Вероника Михайловна... Я тоже помню, как вы мне выбирали самые лучшие книги.

Вероника Михайловна рада встрече со старым знакомым, младшим научным сотрудником Санькой Егоровым. Подхожу к ярусу полок с книгами. Перед глазами – чётко исполненная металлическая табличка: «Научные труды И.П. Соснова». Чтят односельчане человека!

– Дневник Иосифа Петровича здесь?

– Какой?

– Толстая тетрадь в коричневом переплёте...

– Не видела, Сашенька. Посмотрите, на всякий случай... Обшарил все полки – не нашёл.

На след навело упоминание Вероники Михайловны об оставшемся в доме учёного архиве. Бумагами пока никто не занялся, и, по словам библиотекарши, они хранились в деревянном ящике на чердаке особняка.

Новые хозяева дома удивились, когда я попросил у них разрешения посмотреть ненужный им «клад».

– Не золото ли уж ищите, Александр Данилович?!

– Есть кое-что и подороже золота.

– Ну, смотрите.

Покрытый светлым железом деревянный ящик с помощью хозяев снял с чердака в тот же день. Разбираю бумаги – письма, заметки. Попались и книги – рассказы бывалых людей о земледелии в Сибири. Ворошу дальше – мне нужна толстая тетрадь. Вот она – лежит на дне сундука! Как добытому на фронте языку, я обрадовался находке.

* * *

Порадовался! И засомневался: та ли находка, какую я хотел? На обложке нету когда-то примеченной мною надписи. Раскрываю тетрадь, перевёртываю несколько уже пожелтевших листов и остановился в недоумении от того, что понял: в моих руках не дневник, а записки без пометок о времени написания. Рукопись размечена на части с заголовками.

Подумал, что Иосиф Петрович вёл не только дневник, но и записки. А может, я эту тетрадь в коричневом переплёте посчитал тогда за дневниковые заметки? Внимательно осмотрел лицевую сторону обложки. Так и есть!

Там, где была наклейка, покрытое пылью серое пятно. Незачем было размышлять о том, почему свои записки Иосиф Петрович назвал дневником. Знал он, конечно, что эти документы пишутся каждый по-своему. Но для него, видно, было главным соблюсти не форму, а оставить потомкам интересное творение – откровение своей души.

Назавтра рано утром, когда Марина ушла в школу, я принялся за чтение. Люди. Факты. События. Кое-что из того, о чём писал Иосиф Петрович, мне было известно. Однако записки от начала до конца прочитал с интересом. Раньше я знал своего учителя как учёного, давшего сибирскому крестьянству высокоурожайные сорта зерновых культур, а сейчас он предстал ещё и человеком, не обделённым даром образного видения мира. И подумал: не выходит с «таёжкой» – мой долг ради памяти учителя и наставника сохранить для истории его записки.

Из записок Соснова

Зимовье на Ние

Место для опытного поля хоронилось тысячи лет. Было оно нелюдимо и будто невидимо...

В пути провели уже двое суток. Объехали верхом на лошадях за сотню вёрст, а подходящей земли для пашни не нашли. Мой проводник Ефим Серебряков часто повторяет одно и то же: «Место для поля выбирают, как девицу в жёны. Негожи низина и склоны – надо природную поляну аль, на худой конец, равнину из-под берёзового леса».

Отчаялся найти такую площадку в лесистой окрестности Нийска. Гложет досада: не дай бог возмутиться начальнику губернского земельного управления Писарькову. Мужик он горячий, строгий, что предписал – выполняй! Знаю, скажет: что за учёный-агроном, только взялся за дело и провалил...

На третью ночь остановились в редколесье, у покрытого толстым слоем пырея просторного балагана, верстах в десяти от Нийска. Случайно набрали или же Ефим знал это местечко? Ответ на вопрос пришёл позднее – сейчас я был рад видеть укрытие, пусть не в доме, а всё же вздремнёшь не под открытым небом.

Свежих следов у балагана не было. Не примятая, торчала ветошь, из земли только-только проклюнулись шильца молодой светло-зелёной травы. На кострище – старый, плотно осевший пепел, матово-серый, лежит он ровно, красиво, кострище будто накрыли богатой шкурой какого-то зверя.

От балагана под прямым углом расходятся две тропы, одна спуском в лощину, на восток, другая – по взгорью, тянигусом, в северную сторону.

Значит, место не глухоманное, наведаются сюда люди, наверняка. Есть заделье!

Обратил внимание: Ефим распоряжается, как у себя на подворье. Я порядком не огляделся, а он уж успел расседлать лошадей, положил в балаган сёдла (всё будет пахнуть жилым духом), багажные мешки и, захватив с собою котелок, повёл лошадок тропою в лощину. Посмотрел я ему вслед и подумал; свой он тут человек, бывает, может, не так часто, но, во всяком случае, не забывает. Что же он колесил по тайге, не обмолвился, что есть местечко для ночлега? Да и зачем ему было откровенничать? Кто знал, что и третья ночь застигнет нас в бесплодном пути. Ефим – человек осторожный, слова пустого не бросит.

Ефим напоил из ключа коней, стреножил и отпустил пастись. Вернулся весёлый, с полным котелком родниковой воды. Развели костёр, скипятили чаю, попили.

– Местечко попало доброе, – после затяжной паузы сказал Ефим, – тетеревов много. Спугнул с ключа. Улетели куда-то в северную сторону. Примета на руку.

Почему – я не знал и попросил Ефима объяснить.

– Где-то поблизости поляна, на ней собираются тетерева токовать, – ответил проводник.

Я уловил минуту спросить, знакомо ли Ефиму это укромное местечко?

– Кто не знает его? Все о нём слышали. Кто здешний. Вас в расчёт не беру.

– Чем же оно так известно?

– А молвой одной. Словом, сказкой... На ночь слушать её страшновато. Ежли нервишки слабые, напугаешься. Оставим до утра.

Я ещё раз попытался вызвать Ефима на разговор, но он настоял на своём, к просьбе отнёсся безразлично, будто обращались к нему по нестоящему внимания пустяку.

Ночь спали не спали – долго сидели возле костра и дремали полулёжа. В балаган идти не хотелось – чёрт знает, кто там был, может, оставили после себя какую-нибудь нечисть, при-

станет, подцепить недолго, а отвязаться время понадобится. Лучше побыть у очистительного огонька – и тепло, и никакая мразь не подступится.

Когда перевалило за полночь и воздух заметно посырел, на ветвях деревьев стала копиться роса, Ефим не внял моим возражениям и уговорил перебраться в балаган: «Там чисто, как в горнице...»

До горницы было далеко, но таёжный комфорт всё же ощущался: прошлогодний настил из еловых веток и разнотравья ещё хранил летний запах. И, к удивлению, было сухо.

Улеглись с Ефимовым напутствием: «Спокойной ночи...»

А какой же спокойной могла быть ночь? Не видел я доброго исхода, хотя Ефим вроде бы и обнадежил, упомянув о какой-то поляне. На зорьке послышалась тетеревиная песня – прерываемое на короткие, едва уловимые паузы, бормотание и чуфыканье.

– Пойдёмте, Петрович, – поторопил Ефим. – Заиграли лесные артисты. Поляна оказалась не так уж и далеко от нашей стоянки – прошли не более полутора-двух километров, и среди редколесья осветлёнными плешинами засверкал прогал.

На опушке остановились. Свету прибавлялось всё больше – и перед нашими глазами, пока ещё в смутном очертании, открылась равнина десятин на пятнадцать.

Теперь уже можно было, не теряя времени, возвращаться домой и послать срочную телеграмму Писарькову о надлежащем исполнении его указания.

Ефим не торопился – как разведывает, поляну надо пройти, чтобы знать наверняка, гожа ли к пашне. Попросил Ефим заодно посмотреть тетеревиное токование. Просьба была кстати – мне приходилось наблюдать, как выразился он, чудное таёжное зрелище.

Притаились под развесистой сосной. Птицы стали слетаться на поляну. Со свистом, шумом – одна за другой. Ещё совсем недавно вразнобой, по всему окружному лесу, слышались их голоса – перекликались, сзывая на празднество, – сейчас торопились на одно давно облюбованное место.

– Косач – весёлая птица, – тихо говорит Ефим. – Весёлая и храбрая. Сами увидите.

Солнце ещё не взошло, но на поляне уже было света достаточно. Чётко выделялись на сером фоне чёрные птицы. Вот один краснобровый красавец развернул веером хвост, запрокинул голову и, бормоча, пошёл полукругом. Сверкнул зелёным на шее и белым на крыле, азартно чуфыкнул. Навстречу ему, вытянув шею, побежал другой. Сперва редкое чуфыканье, потом всё чаще и чаще – и пошла над поляной задорная тетеревиная песня. И тут, вблизи нас, и впереди подальше, справа и слева.

– Скоро пустятся в драку, – говорит Ефим. – Вот потеха! Куда там петухам. Петухи до крови разбиваются, эти драчунишки сражаются вежливо. Правда, бывает, перья тоже летят ключьями, но чтоб шибко поранить – нет. И чего им не хватает – дерутся...

Самки, рыжевато-серые красавицы, поодаль стоят и наблюдают, как бойцы показывают свою храбрость.

Ефим то и дело привскакивает – не сидится. Пропал его интерес к чудному зрелищу, косачи, оттоковав, разлетятся – пробудился охотничий азарт.

Ружьё взял на всякий непредвиденный случай, а тут вижу, душа ноет, руки тянутся к курку, но, встретив мой строгий взгляд, Ефим остывает. А только дозволю – укокошит не одного и не двух. И случись тут выстрел, я бы унёс с поляны горечь и досаду, что не предотвратил. Теперь же на всю жизнь останется во мне память о косачином празднике.

Думаю о будущем, а с глаз не спускаю начавшего хоровод краснобрового красавца и его напарника в танце. Начуфыкались, наигрались. Теперь остановились они друг против друга, склонили головы и пошли на сближение.

Начался поединок. Противники подскакивают, как мячики. Красавец опередил ущипнуть за шею своего «врага», тот ответил ударом клюва в крыло – и закружились бойцы, грудь

вперёд, крылья – углом атаки... Но вот уж кто-то из драчунов послабее вдруг побежал с поля боя, а победитель гордо поднял голову и посмотрел ему вслед.

– Петушишко кинулся бы вдогонку – клюнуть ослабевшего противника, а у этих – великодушно, – заметил Ефим. – Свой закон, свой порядок.

* * *

Поляна озарилась голубым искрящимся светом и, будто остерегаясь, что кто-то теперь помешает забаве, косачи стаями – одна за другой – разлетелись в разные стороны. До завтрашнего утра.

Мы обошли поляну.

Поле не меряно, травы не кошены... Пырей и вязиль, клевер и люцерна и среди них потаённо, поближе к земле – клубничник, всего этого, было видно, много лет не касалась человеческая рука. Это стало для меня загадкой.

– Вот и нашлась невеста! – весело изрёк Ефим. – Большая матушка-Сибирь, а и в ней удобных для хлеборобства земель не много. Горы. Болота. Леса... Только и остаётся – долины рек. А это местечко, Петрович, не иначе как сам Бог нам послал. Увидел – мужикам надо – и распорядился. Што людей мучать: пекутся о добром деле.

Нет, напрасно окрыляется Ефим Божьим именем. Я теперь раскусил – до поры до времени Ефим поляну берёт, думал, если найдётся другое место, то обойдётся и без этого урочища, оно для его крестьянской души бесценно дорого в первозданном наряде.

Понял и Ефим, что я тоже учуял, почему он два дня водил меня по тайге, таясь, и признался:

– Скажете, пошто я знал и не сказал о ней сразу? Можно осудить меня и упрекнуть... Клянусь: не хотел сделать плохого... Вот сейчас пришло время сказать и о молве.

– Интересно?

– Интересно. А вчерась не хотел. Штука тут, Петрович, такая. В здешней округе я, считай, полный хозяин. Другие сюда не касаются. Сторожу? Прогоняю? Нет. Зазываю – не идут. За три версты обходят это место. Ногою ступить бояться. Спросите – почему? Вся и отгадка – заколдованной поляну считают. С давних пор, видно, а вот, вишь, так и до сей поры. Страшная молва катится и катится. И дале её не уймёшь...

Ефим приумолк, задумался – всё сказал, что касалось поляны, или какой момент упустил? Ожидаю: вот-вот он молвит о главном, как родилась злая молва? Было какое событие или же хитроватый странничек сочинил байку, чтобы проверить силу своего дара, и поплелась гулять она по миру. Далеко, правда, не ушла, а в окрестности Нийска жить осталась.

– Оно, вишь, Петрович, известно, дыму без огня не бывает. И байка, должно, от жизни. Своими ушами слышал. Жила в наших краях одна старушка. Журихой звали. Скончалась, когда было ей лет за сто. Так вот она и сказывала.

Ехали на житьё в Сибирь поселенцы. Скарб, что могли взять с собою в дорогу, везли на лошадаках. Ночь застала бедных путников возля этой поляны. Обрадовались – и лес рядом, за дровами далеко не ходить, и выпас богатый – усталых коней покормить. А ночью-то, откуда что и взялось, заухало – из тьмы к табору подскочило несколько лохматых чудищ. С дубинами. Разогнали лошадей – те с испугу-то порвали привязки и махом в лес. Чудища покорёжили телеги. Люди-то будто бы спаслись, разбежались да попадали замертво в густую траву – темнота скрыла от разбойничьего глаза.

Старуха, крестясь, уверяла: разбойничала нечистая сила. Будто бы пришлые люди нарушили её покой. А я так думаю: разбаловались медведки. Случается, шибко озоруют. Любят потешиться, черти!

Было, и это уж на моей памяти – сгинули две нийские девчушки. Пошли на поляну за ягодой – и с концами. Находили тут и чуть прикрытого дёрном убитого мужичка... Вспоминать о том жутко. И прокляли люди поляну, навеки зареклись ходить даже возля её.

– А вы, Тихоныч?

– Я? Поборол страх я, Петрович, – усмехнулся проводник. – Ради косачей не испугаюсь и самого ада. А вот как быть нам теперь? Крестьяне от нас не отшатнутся?

– Отшатнутся не отшатнутся – от нас зависит. Если увидят, что хлеб у них будет – повесят. Говорите – место заколдованное, земля отторгнута от людей. Слово плохое когда-то о ней сказали! Мы доброе скажем. Позовём отца Сафрония – освятит поле.

– Во-во, Петрович! Умная голова – умны и речи, – возрадовался Ефим.

– И станет одичалое место святым.

– Святое поле!.. Красиво! И благородно!

И пойти сюда людям с чистой душой за добром.

* * *

Теперь гордо воспрял я духом и готов превозмочь тяготы устройства на новом месте. Невдалече от сего поля отыскалось подходящее местечко и для нашего поселения, – поближе к уездному городку, но тоже в направлении к холодному краю.

Сим же разом мой проводник предложил, не откладывая срок, срубить зимовье.

– Я покличу с ближних и дальних заимок-улусов крестьян. Они зимовьюшко в два счёта отгрохают.

– Плата за наём понадобится.

– Э-э, Петрович, не про то говорите... Не обижайте народ. Крестьяне подарят вам зимовье, ни гроша за него не требуют. Пошто, спросите? Вы же им посла сторицею оплатите, им же служить будете.

– Буду стараться.

Крестьян человек шесть Ефим Серебряков привёл ко мне дня через два. Все они были дюжие, на первый взгляд похожи один на другого – в лёгких зипунах, серых холщовых штанах, в просторные с вывертом голенища ичиг заправлены гачи; у всех за поясами топоры, двое держали за ручки тускло поблескивающие сталью длинные пилы. Двое от остальных четверых заметно отличались внешностью. Представ послушно передо мною, мужики, как солдаты на поверке, назвали свои имена.

– Ханхала Бадмаевич Очиров, из улуса Бильчир. По местному прозывают батыр Очирка.

– Силён, видать, Ханхала Бадмаевич?

– Выходил на сур-харбан, многих валил, был сила раньше, на этот день кличка остался.

– Вижу, и могучность ещё сохранилась.

Рядом с Ханхалой переступил с ноги на ногу мужик с густой посеребренной проседью бородой. Смотрел он прямо, зорко, и на губах его, затенённых волосом, скрадывалась по-детски кроткая улыбка. Под изрядно поношенным зипуном подрагивали стойкие к любой тяжести плечи.

– Дмитро Залейогонь, из хохлацкого рода, полтавский переселенец.

– Давно в Сибири?

– Да ни, два году нима. Едва успел хату себе зробить, по-своему, по-хохлацки – из прутня да глины.

– А что лесу на постройку не дали?

– То же по привычке згадали, як старни наши. Впрок будим знати...

– Я Мирон Поликарпович Березов, – откликнулся третий. – Тоже, как Ханхала, имею деревенское нареkanie – Сохатый, – он коротко рассмеялся, клубок смеха, казалось, застрял в его груди и остановился.

– По какому случаю пригвоздили?

– Должно, по виду, по внешности всей.

– Не ошиблись!

Остальные трое мужиков, видать, поскромничали, назвали себя просто потомками Ермака. Прозвучало это гордо и величаво, мол, знайте, гражданин учёный, кто мы такие. Непритязательны в своей будничной жизни, не знаем изысканных блюд, но живёт в нас неистребимо дух первопроходца Сибири.

После столь внимательного знакомства я рассказал мужикам кое-что из того, что касалось будущего опытного поля. Слушали они с тревожным вниманием и заговорили не сразу, как закончил рассказ. Они ещё некоторое время что-то обдумывали и поглядывали на меня рассеянно. Я угадывал, что гости засомневались в истинности моих намерений, и мне стало обидно, что обманулись в своих желаниях. Бог весть что наговорил им Ефим Серебряков, когда созывал строить зимовье. В настороженную тишину, наконец, метнул воркующим басом Дмитро Залейогонь:

– То як скоро станется? Року два-три минет?

– Трудно сказать, Дмитро, когда. Дело это в Сибири новое, пойдём нехоженой тропой.

– Як по топищу, не видаэ, где глыбокая яма. Провалишься, так и не повидает, чи выплы-вешь, чи нет.

– Похоже: по болотищу, а идти надо. На месте стоять нельзя.

– И ви одни бачите зробить то дило?

– С вашей помощью.

Дмитро засомневался – что да как всё, что задумал учёный, будет. Не вышло бы обмана – сердитыми глазами уставился на меня и со злом сплюнул:

– Мне з вами не по спутку. Прощевайте, – отойдя несколько шагов, посмотрел на Ефима. – А ты, Ефимку, боле в хату мою не сувайся!

– Дмитро, ты чиво? Опомнись! Дмитро! Вернись...

Но он уже, наверное, не слышал сказанных вдогонку слов, зашагал широко и размашисто по просёлку, потряхивая за поясом тяжёлым топором.

Оторопело смотревшие теперь на меня мужики замерли, застыли в недоумении. В чуткие и шаткие их души смятенный, боязненно-набожный Дмитро посеял смутное беспокойство. Я тоже был смущён и чувствовал себя виноватым перед крестьянами за то, что поддался соблазну на необдуманный шаг своего проводника и оторвал людей от насущного своего занятия.

Однако открытого протеста от мужиков не услышал. Они, должно быть, всё-таки надеялись на мою благосклонность и помощь в своей трудной крестьянской судьбе. А я думал о том, удастся ли мне когда-нибудь оправдать их трепетные надежды.

Заверять крестьян сейчас в чём-либо было просто непристойно, не имел я на это права, но уже не мог оставаться безучастным к доверчивым извечным хранителям земли. Для меня не составляло трудности исполнить какую-либо житейскую просьбу одного из них или всех сегодня пришедших сюда, но было пока недостижимо сотворить большое добро для многих.

Мало-помалу гости мои расшевелились, обменялись молчаливыми взглядами, и я услышал глухо-басовитый голос Сохатого:

– Хвате, мужики! Подумали, хвате. Думой, больша она или мала, сыт не будешь и зимовье не построишь.

Те отвечали:

– Знамо дело.

– Мы не безрукие.

– На то и сошлись.

– Дмитро убёг, так ещё одумается, придёт.

Ну, вижу, всё ж задел чем-то мужиков за живое – и поближе к ним, подушевнее, спрашиваю:

– Скажите, мужики, вас созвал сюда Ефим без угрозы?

– Не, ба-рин. Ефима мы давно знаем, земляк. Только от земли одно время отшатнулся...

– Не вышло, знать, ладу с нею, – сказал в оправдание Ефим. – Три лета под одну беду, побило хлеба морозом... Ушёл в тайгу искать золото, промышлять дарового зверя. Помыкался-пошатался, опять в родные края поманило.

Сохатый сказал:

– Птица всегда зимовать на юг улетает. Тако и человек, у кого сердце не окаменело, тянется в родные места. По природе оно, ба-рин.

Опять Сохатый, этот завидный здоровяк, назвал меня барином. Неуживчиво, вязко звучит слово в его устах. Не от робости, конечно, этого дядю не испугаешь. И откуда в сибирской глуши такое холопское наречие? Перекочевало вместе с губернаторами и жандармами?.. А я какой барин?

– Добрые мои люди, – сказал я крестьянам, – барином не кличьте меня. Я не барин, агроном. Зовите по наречённому имени-отчеству...

– Так оно нам душевнее, родней будет, – сказал опять Сохатый. Приглянулся мне весёлый здоровяк Сохатый – с первого разговора понравился. От природы он и душевный человек, и прямой, а слово умом лучится. Другие мужики тоже приметны и величавы, таят большой интерес к разговору, ново для них и страшновато слышать что-то о земле и о хлебе от учёного человека. Чем и как заставить их откликнуться на таинственный голос? Всякое растение подвластно повелительнице-природе: ласковому теплу и грозному холоду, живительной воде и губительному огню – что же тогда остаётся делать человеку? Какой наделён он магической силой?

Сообща порешили: мужики без роздыха примутся рубить зимовьюшку, я отправлюсь в губернский город хлопотать об имуществе для опытного поля. Расстался с мужиками дружелюбно, и мне было тепло от думы, что они будут спутниками в трудной моей дороге.

Таёжная находка

Накануне услышал: по воскресным дням местный рынок кишит народом. Везут сюда всякую всячину – кто что сумел припасти. Вот уж поистине – на базар, как ни навязал – всё ладно. Чтобы познакомиться с особенностями края, не нужны толстые книги, побывай раза два-три на этом смотрище, с людьми потолкуй и станет ясна картина. На мелочи-безделушки любоваться не собирался, интересовал хлеб – какой, откуда привозят, словом, взял в расчёт: нельзя ли воспользоваться местным сортом злака в научных целях. Сходить на базар собирался с первых дней поселения на опытном поле. А попал только спустя два месяца. Зато угодил в людный день. Телеги с разной поклажей тянулись к перекошенным базарным воротам со всех проулков Нийска. На площади повозки становились возле заборов на почтительном расстоянии одна от другой, каждый крестьянин старался поудобнее разместить свою поклажу, на виду, поближе к людскому потоку.

Народу, как на престольном празднике, говор колышется, плывёт волною над площадью. Смех, крики, похрапывание лошадей. Кто-то спозаранку, с радости или с горя, хватил горькой и уже пробует настроиться на заученный мотив, я слышу только хриплый прерывистый голос, а самого певца в толпе не видать:

Гул-ляла девка по лужку, по л-лужку,

Нарвала она голубых цветов...

Голос кажется знакомым, слышанным-переслышанным. Да это же Мирон Поликарпыч Березов-Сохатый, тоже прикатил поторговать. И с чего это он развеселился. Я пробился сквозь людскую толпу к телеге, Сохатый узнал меня сразу.

– Доброго здоровья, доброго здоровья, – повторил он, крепко пожимая руку. – Прогуляться собрались, Иосиф Петрович?

– Да вот вышел на люди, скучаю там, в моём укромном поместье.

– Добре-дobre, Петрович, тут всякий раз занятно. И смеху, и слёз хватает... На позапрошлой неделе у одной бабёнки всю поклажу из-под рук утанули.

– Как же так? Без надзора оставила, что ли, она добро-то своё?

– А очень просто, Петрович. Один из воришек встал перед бабёнкой, давай вроде бы торговаться, отвёл её глаза в сторону, другие за спиной-то её мигом управились. Обернулась – их след простыл. Заголосила лихоматом, да што толку... Тут надо ухо остро держать, если не хочешь показаться старухе с пустой телегой и без гроша в кармане. Я дак на всякий случай вожу с собою одну штуковину.

Мирон Поликарпыч приподнял полу обношенного зипуна, и я увидел добрый кистень – круглая гиря на цепи с берёзовой ручкой тянула, пожалуй, фунтов десять – двенадцать. Вот так забава! Медведь растянется с одного удара такой железьюшкой.

– Без него нельзя, опасно, – говорил со спокойной усмешкой Сохатый.

– Тута, на базаре, он, можа, и не понадобится, а в дороге держи настороже под рукой: разбойников страсть много, Петрович, таится, стерегут, гады, честного мужичонку, грабят. Со мной, верно, пока ничего такого не случилось, про других знаю.

Ещё некоторое время разговор наш шёл по поводу дорожных происшествий, и только после этого я спросил Мирона Поликарпыча, по какому случаю он пожаловал на базар – купить что или продать.

– Уж расторговался, – озоровато подмигнув мне, ответил Мирон Поликарпыч. – Ярицы пудовок шесть-семь случилось лишку – привёз. Боле нечего. А старуха заказала в обмен соли да ситцу взять.

– А про шкалик горилки она не напоминала? – скараулил я момент выяснить, от чего Поликарпычу весело.

– Слышал, что ль, Петрович, я тут про себя затынул было песенку?

– От такого голоса не скроешься.

– Во как! Да ну, про шкалик старуха, конечно, толковала. Чтоб не посмел и поглядеть. Да разе уберегёшься, в меру-то она для здоровья, считаю, не вредная. Когда жрут до одури, тогда одна беда, всякое обличье человек снимает, вроде он уж не человек, а тварь какая бесподобная. Со мною такого не случилось, Петрович. Да и за этот шкалик прошу прощения...

– Я вас не виню, Мирон Поликарпыч. Помилуйте, плохого не вижу. Разве если человек поёт – плохо? Это прекрасно!

– Ну, спасибо вам на добром слове: порадовали!.. Как зимовьюшко наше, не развалилось?

– Ну, о чём вы! Стоит зимовьюшко. Надёжно. Прекрасно получилось у нас, Мирон Поликарпыч. Лучше не надо. Не зимовьюшко – добрая обитель.

– Учёная обитель!

– Вот-вот. Всё в ней поместилось, рабочий столик, стеллажи, на них всяких хлебов и трав накопилось. Хожу собираю по окрестным селеньям, на лугах.

– Чародействуете?

– Выходит, так... А что слышно о наших сподвижниках – Ханхале Очирове и о полтавском Дмитро?

– Виделись мы тут как-то на рынке. Дмитро сторонится, как осерчал тот раз, так и не отходит. А поприметил я: плохо у него с хлебопашеством и ржицу на базаре у мужиков побогаче смекает.

– Бог не в помощь ему?

– Тако, видно. На Бога надейся, а сам не плошай. А Ханхала Очиров, этот мужик бедовый. Скотиной живёт богато, к пашне радеет не шибко, но о вас вспоминает добро. Собирается на ваше поле, посмотреть, что делаете, да узнать кое-что.

– Это похвально. Пусть приезжает. Одарить пока добрыми семенами не смогу, но что есть, поvidaет. Опыты мои в зачатке...

– Любопытно – какие?

– Всякие, Поликарпыч. Больше наблюдаю за пшеницей. Она приманила.

– Тут она редкая гостья.

– Надо, чтоб хозяйкою стала.

Я раскрыл цель появления на базаре. Мирон Поликарпович с превеликой охотой вызвался помочь, и мы отправились, соблазняясь удачей. Часа полтора с пристрастием приглядывались к мешкам с зерном и мукою «в калашном ряду». Я отчаялся увидеть что-либо подходящее – всюду был один ржаной хлеб. Мирон Поликарпыч неожиданно взял меня за локоть и потянул в затенённый угол.

– Петрович, видишь, что там?

– Ничего не вижу пока.

– Любо-дорого посмотреть. В редкость это в наших краях таёжных. Прямо – чудо!

– Мука пшеничная?!

– Она!

Крестьянин, стоявший возле мешков с мукой, услышал наш возбуждённый разговор и посмотрел с любопытством. Одет он был в новенький зипун из рыжей овечьей шерсти, добрый картуз сдвинут на правый висок, коротко острижена ещё не тронутая седина густая округлая борода. Открытое широкое лицо его выражало глубокое внутреннее спокойствие – такой человек знает себе цену, убеждён в своей силе и правоте. Однажды, когда пришел счастливый миг, он утвердил себя в этом и, вероятно, останется непоколебимым теперь вечно.

– Хозяина знаешь, Поликарпыч? – шепнул я Сохатому.

– Кажись, не встречался.

Мы подошли вплотную, лицом к лицу, поздоровались. Крестьянин снова окинул нас оценивающим взглядом, ответил внушительным басом:

– Пожалте, добрые люди... Чиво изволите?

– Ваша мука заинтересовала. По виду – хороша!

– О! Такой цены нету.

– Так продаёте же, стал быть, что-то стоит.

– Известно, конечно, чиво тут скрывать, своя, не краденая, – крестьянин дородно побряхтел, погладил ладонью волосатую щеку. – Три целковых... за каждую пудовку.

– Не дорого?

– Бог Господь видит-знает... Мучка отменна, нету подобной в округе, а такова дюже стоит, добрые люди.

– Не по карману всякому, – заговорил Поликарпыч. – Где я, к слову, возьму такие деньги?

– Хозяин барин... Не принуждаю. Сегодня не продам, завтра раскупят. Ноне пшеница в нашей Сибири – штукавина модная. Всяк десятину-другую иметь её желает, да семя нету. Гибнут посевы.

– От чего так?

– А всё от одного – не вызревают... Понавезли переселенцы всякого семя, возликовали, на плодovitых новых землях ратовали получить стопудовый урожай. А морозец – бац и готово, остались ни с чем, рожью снова пашню позанимали. Вон как ею весь торговник позаполнили.

– А вы как сподобились вырастить пшеницу?

– Я-то?.. Слышать намерены?

– Любопытно.

– Долго сказывать придётся.

– Мы народ неспешный. И на базар для того пришли, чтоб посмотреть да послушать.

– Только нету, видать, никакого резону терять время – от моего сказу вам проку не станется. Позабавитесь и весь прок... Тому гутарю, что дозволено, кто покупает, а другим незачем.

– В таинстве держите своё дело?

– Да какое тут таинство?! Раз продаю...

– Продаёте муку... Надо б семена. Хоть скажите, где проживаете? В гости нагрнем – полюбоваться посевами.

– Проживаю неблизко, дорогие люди. Есть в верховьях Нии большая долина. А вокруг – горы и тайга. Тайга и горы... Хватит сноровки добраться – прошу милости.

– Не пожалейте горстку пшеницы – одолжите.

– Там видно будет, как приедете...

– Сами не привезёте? Много не надо. Одну горсточку...

– Чудак, гражданин! Что вам одна горстка.

– Для разводу... На семя.

– Э-э, Данила Севастьянович Егоров не мелочится. Привезёт – так воз. И покупайте. Прошу. А пригоршнями сам не беру и других не поважаю. Так смешно и стыдно, – крестьянин умиротворённо хохотнул, погладил ладонью бородку и было заметно по всему его поведению, что он чтит своё крестьянское достоинство и хозяйскую сметливость.

– Нам много не нужно, Данила Севастьянович. Горстку, – повторил я.

– Милостыню просите! Как нищий!

Мою просьбу он посчитал за коварный подвох и страшно рассердился, отослав нас с Мироном Поликарпычем ко всем чертям.

Возвратился с базара в плохом настроении, но не без надежды побывать когда-нибудь в верховьях Нии. Авось удастся встретиться с тем крестьянином и посмотреть на его таёжные поля, если поведал обо всём правду.

Нехоженой тропой

К моему приходу с Нии Маргарита приготовила сюрприз. Стою на крыльце, вываливаю из сумки в корзину хариусов, а из сеней так и пышет духом какой-то стряпни. Слышу, Маргарита кличет:

– Рыбак, прошу завтракать!

– Чего-то напекла?

– побыстрее! Остынет.

Удивился: на столе – румяные блины из пшеничной муки! Откуда? В доме, хоть по моему положению и следовало, её пока не водилось. Зерно на помол не тратил – припасал для научных занятий.

Пытаюсь дознаться, где взяла хозяйка муку, а Маргарита подзуживает:

– С твоего поля, Осип. Нагребла зерна да смолола.

– Неправда.

– Откуда ещё? Больше неоткуда. Сама хлеб не выращиваю.

– Не смейся. Скажи! Улыбнулась:

– Одолжила соседка.

– А у той откуда?

– Принесла с базара. В прошлое воскресенье. Я тоже сходить хочу. Долг отдавать надо. Сегодня день базарный, воскресный. Не удивляйся. Забыл, что ли?

– Ага. Думал, суббота. Подожди меня, Маргарита.

– Ешь, не торопись. Одна схожу. Если попадёт товар, то брать много не буду – сколько смогу принести.

– Мне тоже на базар надо – посмотреть, кто торгует этим добром. Не старый ли мой знакомый Данила Севастьянович? Я сказывал тебе, как однажды встретился с ним на базаре.

– Помню... Ты попросил горсть пшеницы, а он послал к чёртовой матери. Думаешь, сейчас привёз и одарит: «На-те, дорогой Иосиф Петрович!» Не одарит. Он давно уже забыл о твоей просьбе, – выговаривала Маргарита, одеваясь в выходное платье.

Между тем чашка опустела. Съел блины с несказанным аппетитом и в душе поблагодарил Данилу Севастьяныча (верил, что блинов напекла Маргарита из его муки).

Данила Севастьяныча на базаре не оказалось. Завсегдатаи-торговники, как сговорившись, повторяли одно и то же, что «таёжного пшеничника» сегодня не было. Пожалел о несостоявшейся встрече и дал зарок, пока снег не завалил пути-дороги, навестить Данилу в его потаённых местах.

Волей-неволей собирайся в путь учёный-агроном, изучай неизвестную Сибирь, смотри, что и где сеют крестьяне.

Наконец, как-то вечером Ефим Тихоныч запоздало пришёл ко мне и объявил, что собрался в дорогу и готов выехать, уже подкованы две верховые лошади, подобраны сёдла и харч заготовлен. Мне беспокоиться не о чем – садись и езжай! Ефим Тихоныч, чуткий и умный от природы человек, уловил моё благодушие и с достойной вежливостью намекнул:

– Нелёгко путь будет, Иосиф Петрович. Тайга... Ехать горами, звериными тропами, местами по дикому берегу Нии. Представляете?

– Спрашиваете? Нового человека в этих местах!

– Тогда настройтесь, как солдат перед атакой... Ружья при нас будут, без них нельзя. Бандиты шастуют по округе.

В путешествии полностью отдался во власть Ефима Тихоныча. Человек он бывалый, по тайге хаживал не раз, верно, не по этому маршруту, по которому шёл сейчас. Но всё же умение обходиться в лесу наедине помогало и выручало. Он по-хозяйски сооружал ночлег. Аккуратный, уютный балагашик получался быстро. Спалось в нём, как в горнице у гостеприимной хозяйки. И в трудную минуту проводник не терял присутствия духа. Где-то на половине пути неожиданно преградила быстротечная речуга. Известны эти горные буяны – пудовые валуны перекатывают, как игрушечные, с места на место. Прошли по берегу, посмотрели – вокруг никакого мостка... Одно остаётся: отважиться пересечь речку вплавь на конях. Ефим Тихоныч досадливо похмыкал и спрашивает:

– Не боитесь?

Что ответить? Боюсь не боюсь – надо решаться, не возвращаться же обратно. Так лишь думаю, стыдясь перед Ефимом Тихонычем за свою мужицкую робость, а на душе чёрт знает что творится: чую конец своей жизни в безвестной речушке. Не смерти пугаюсь. Что смерти бояться! Когда-то она всё равно придёт. Ко всем приходит, к царям, к королям, к бедным и богатым – и ко мне явится. Обиду только чувствовал, что плохо, если сгину, не оставив людям после себя доброго дела, потому что ещё ничего не успел. Жалко уходить-то с земли бесследно, вроде бы и не было совсем тебя, не жил ты на этом свете. Оно верно: тебе-то всё равно, когда уйдёшь, никто там тебя не спросит, чем занимался, а вот, пока жив, гложет мысль: зря или не зря отсчитал отведённые годы.

В какую-то минуту отрешился от всего окружавшего меня и увидел перед собою только одну цель – переплыть своенравную горянку! Говорю Ефиму Тихонычу тоном военачальника:

– Как форсировать водную преграду будем?

– Верхом на лошадях, – ответил и посмеивается. – Как же ещё? Так принято.

Что так принято, я знал. Проводник, видно, не понял меня, опять спрашиваю:

– Вместе или порознь?

– А как бы хотели?

– Вместе, рядом друг с другом...

– Э-э, Петрович, так не пойдёт. Вначале я один попытаю удачи. Зачем рисковать сразу обоим...

Я подумал. Насторожил проводник: почему он один будет рисковать жизнью.

– Сгину, так небольшая потеря для земли будет, – повторил после паузы проводник свою мысль.

Я запротестовал, с обидой сказал, что прятаться за чьей-то спиной не могу и не имею никакого права. Плыть, так вместе. Ефим Тихоныч упорствовал долго, говорил, что обязан денно и ночью беспокоиться о моём благополучии, что я должен в то же время неукоснительно подчиняться его воле. Однако в конце концов я одержал верх. Ефим Тихоныч покорился и вроде затаённо обиделся на меня – делай, мол, теперь сам как знаешь, а он, если что худое стрясётся, отвечать ни перед кем не станет. Но прошло некоторое время, и я услышал бодрый и приятный голос:

– Иосиф Петрович, приглашаю... Надо причаститься – по маленькой стопочке.

– Это зачем?

– Полагается.

– Я к зелью, Тихоныч, полнейше равнодушен.

– Не отговаривайтесь. При переправе намокнете, вода студёная, родниковая, можно застудиться. И для храбрости не лишне. Прошу.

Пришлось согласиться – убедил Ефим Тихонович. И теперь сидит он, скрестив ноги, довольный, гладит ладошкой бороду и, поглядывая на меня, посмеивается:

– Истинно так и надо. Когда-нибудь вспомните мои слова.

Прав оказался старик. Это я понял, как только коснулась ног и забулькала в голенищах ичиг вода, а уже когда очутился на берегу промокший до нити и когда не попадал, как говорят, зуб на зуб, тогда-то по-настоящему оценил проводника.

Путь продолжили утром на третьи сутки. Спустились с гор и вышли в просторную долину. Ефим Тихоныч остановил лошадь и посмотрел на меня ликующими глазами:

– Полюбуйтесь, Иосиф Петрович, что тут!

– Вижу: долина; зелень, цветы живые.

– Это же то самое заветное местечко. Оно! Видите: вон там что-то чернеет.

– Где?

– Впереди, у подножия гор.

– А-а! Разглядел. Селение?

– Возможно. Вполне возможно. Там, кажется, и Ния легла петлёй по долине.

Через полчаса мы въехали в деревню. Являла она собой когда-то тихий и, должно быть, красивый жилой уголок – сейчас угрюмо молчаливый и заброшенный. Некоторые срубленные из добротного лиственничного дома стояли полусторевшие, другие, сохранившиеся, холодно отсвечивали задымлёнными в окнах стёклами. Никаких признаков жилья. Всё пусто, забыто.

– Напрасно ехали – мучились, – помрачнел Ефим Тихоныч. – Что тут нонче увидишь? Мне-то всё одно, а вам-то, Иосиф Петрович?

– Я не огорчаюсь, – отвечаю. – Пошарю, полазаю по округе, что-нибудь усмотрю. В пустынях и пещерах находятся ценные вещи, а тут жили люди, что-нибудь да оставили.

– Оно так. Да долго засиживаться тревожно.

– Почему?

– А вишь: тут крестов могильных. Вона счас заприметил. Да похоже, все свежие, не почернели. Погляди-ка на тот холмик, Петрович. Вона туда, налево.

Я оглянулся и обомлел: холмик в самом деле пестрел крестами, они напоминали в эту минуту скрещённые руки и, казалось, выдвывая замысловатые фигуры, двигались. Заметил ещё среди крестов силуэт человека – силуэт серой тенью то приподнимался, то припадал к земле, исчезая.

– Ефим Тихоныч, по кладбищу кто-то ходит, – говорю проводнику, не веря.

– Привиделось это вам, – безразлично ответил Ефим Тихоныч. – Кто ж там будет – лешак, што ли?

– Не спорю. Леших ни разу не видел.

Тень выпрямилась и застыла в неподвижности. С кладбища донёлся глухой бормочущий голос. Я кивнул проводнику.

– Вишь, кто-то ходит! Пойдёмте посмотрим.

Мужик, согбанный, кривоглазый, в самотканой лохмотной одежонке, с седенькой густой бородой, смотрел дико, боязливо: откуда пришельцы? Смотрел и молчал. Запавший один его глаз был неподвижен, слегка подрагивали на щеках морщины. Он силился что-то сказать, но слова не получались – прилипали к безжизненно посиневшим губам.

– Т-тут-т, – шамкал мужик. – Б-были...

Было загадкой видеть старика. Мы ехали, чтобы встретиться с могутным, уверовавшим в своё крестьянское назначение мужчиной, познакомились с которым на многолюдном рынке, а предстал перед нами полуживой странник. Он ли, Данила?

Затаив сомнение, я присматривался к его обличью и ничего не нашёл сходного со старым знакомцем. Об Ефиме Тихоныче нечего было и говорить, знал он про Данилу лишь по моему рассказу. Похоже было, что и сам-то странник уже нашего приезда не ожидал, не признал во мне виданного человека. Спрашиваю, желая ошибиться:

– Вы – Данила Севастьяныч?

Старик вздрогнув, насторожился, будто кто неожиданно окликнул его в темноте.

– От-к-куда знае-те?

– Да вы ж знатный человек... На всю округу. Встречался с вами на рынке в Нийске.

– А-а, вон как! П-при-ипоминаю. Р-разговор был о хлебе. П-приглашал п-посмотреть.

– Вот и явились.

– Л-ладно. Т-только в-время п-плохое в-вышло. Т-тут б-была... – Данила смолк.

Я понял: он напуган и заикается. Успокоил – пришли свои люди. Не разбойники, бояться не надо! Он поверил, засуетился, должно быть, на минуту забыл, где он, и в нём проснулся добрый обычай – принять гостей, но тут же в безмолвии раскинул костлявые руки и опять замер, изобразив фигуру какого-то святого великомученика. Кто же и когда принимал на кладбище гостей? Это он сообразил и кивнул в сторону селенья.

– Т-т-ам м-мой д-дом... Е-едва у-уцелел.

– Да што тут у вас случилось? – с нетерпением спросил Ефим Тихоныч.

– П-пожар...

В сопровождении старика мы прошли по кладбищу. У одной из могил Ефим Тихоныч задержался.

– Глянь-глянь, Петрович... На камне-то что выбито! – и прочитал: – Здесь покоится прах крестьянина Федота Романовича Бугрова. Убит 60 лет от роду за ковригу хлеба...

– Что? – спросил я удивлённый, ещё не разглядев толком ни самого надгробья, ни надписи на нём. – Так и есть?

– Написано, Петрович! Не выдумал...

Я поглядел на выкрапленные в коричневом камне-песчанике буквы и смолк в недоумении. За буханку хлеба убит человек! Невероятно! Можно согласиться: сгубили за горсть золота. А за ковригу хлеба? Где и когда?

На голый пригорок, примыкавший к кладбищу, вышел и, приглядываясь к нам, остановился мальчик. Данила заметил его и пояснил:

– С-сынишка м-мой. С-санёк. Х-ходил в б-боярышник, – поманил рукой: – И-иди, С-санёк!

Он ястребком сорвался с места и, размахивая руками, вприпрыжку пустился к нам.

Вблизи Санька показался мне мальчиком рослым и плечистым, с похожим на отцово лицом. Обут в новые ичиги. Коренной сибиряк!

Данила спросил:

– Н-не набрал, в-вижу, боярки?

– Не поспела. Мороза не было. А такую зачем рвать? – деловито ответил Санька.

– П-правильно, С-санёк, – ласково поглядел на сына Данила.

По дороге к дому Данила продолжал рассказывать историю своего села. Основали его в тихом укромном местечке сбежавшие из-под каторжного конвоя мужики. Сколько их было – неведомо. Построили зимовье, занялись хлебопашеством и промыслом зверя – поблизости от поселения, в таёжных дебрях Саянского хребта. Приманила беглецов плодородная долина, и поселение своё нарекли они звучно – Хлебное. Разрастался хуторок, дымил трубами и манил путников неповторимым ароматом хлебного злака. Манил, пока не случилась беда...

Возмездие

По долине бродил с Ефимом Тихонычем до самой темноты. Пооблазили все поля, лощины. Трав набрали всяких, связали в снопики и положили в дорожную сумку – явимся домой не пустые. А всё же сердце точила досада: не нашли того, за чем ехали, – злаков. Так уж, объяснял мой проводник, всё пошло с изначала дороги. На речуге чуть-чуть не распрощались с жизнью и после, когда добрались до затаённого места, очутились у заброшенного пепелища. Кто-то из нас был нефартов. Ефим винил себя, что, мол, накануне отъезда вечером поссорился со старухой. Она, его жена Дорина, настаивала Ефим винил себя, что, мол, накануне отъезда, вечером поссорился со старухой. Она, его жена Дорина, настаивала взять с собою образок благодетельницы святой Марии, а Ефим просмеял: «Гм! Молодуху б присоветовала лучше... Што, меня мёртвая икона согреет?» – Плюнула вслед Дорина, отправила к чертям.

Я знал, что говорит всё это Ефим ради шутки, развеселить меня, а сам думал ещё и о другом: напрасно не послушался он старухино наказ. Пусть бы всё было, как хотела, мы б от этого ничего не приобрели и не потеряли – спокойна была бы за сочувствие в удаче Дорина. Теперь же, представлял, сидит она вечерами на лавочке возле калитки одна-одинёшенька и бранит заодно с непослушным мужем и меня – путешественника, соблаздившего старика в неведомый путь.

Данила нас поджидал, сидел на лавочке возле открытой калитки, опершись локтями на остро высунутые колени, кучкой пепла отсвечивала седая его борода, тёмными провалами обозначились запавшие глазницы.

– Милости прошу, добрые люди! – поприветствовал он нас, вставая. – Пора на ночлег...

– Место-то сыщется? – спросил Ефим.

– А то как же. Эвон в хату – пуста, хоть в завозню – душ пятнадцать поместится. Тут, в завозне-то, воздух здоровей – свеж и чист, крепко поспите. Да проходите, добрые люди, проходите, – повторил Данила. – Чайку сварим, попьём.

Большой костёр радушный хозяин развёл посреди ограды, на подпаленную рогатину чайник повесил – над самой куделью пламени. Сели на чурбаки. Данила к нам попривык, понял,

что люди безобидные, зла ему не причиним, и сидел с нами, как с давно знакомыми. Перед огнём его седая борода преобразилась в розоватый снопок и здоровый глаз стал другим – веселее и подвижнее. Даже голос переменился, перестал подсекается и дрожать, и на коленях спокойно лежали руки.

Перед ужином Ефим расщедрился по шкалику водки. Хозяин оценил добродетель как вредное излишество и стал отказываться: к зелью-яду отвращён смолоду, не привык, а теперь совсем ни к чему. Да не тот человек угощал, чтобы Данила сумел найти довод уклониться.

– Веруешь в Бога, Данила Севастьяныч? – спросил Ефим.

– Хаживал в церквушку, молился. Ему, Всевышнему. Хоть и не видывал, а молился.

– Так вот, за его здравие. Держи!

Не успел Данила опрокинуть стаканчик, слёзно закашлялся: «Ну и водица», – а когда прокашлялся, пришёл в себя, заметно повеселел и на слово не заскупился.

Много порассказал Данила в тот вечер разных историй. Для летописи моей сподобилась одна, другие со временем отошли в сторону, завязей плодовых не дали. Для тех, кому придётся читать когда-нибудь записи, замечу, что не ручаюсь, всё ли правда в этой истории: записываю, как слышал.

...Произошло это студёной январской ночью. В подёрнутое кружевным льдом окно Данилиного дома постучали.

– Кто? – отозвался ещё не успевший крепко уснуть Данила.

– Прохожий... Спаси, родной, грешную душу. Обогрей. Данила больше не спрашивал: в такую стужу держать человека под окнами не по-людски. Накинул на плечи полушубок, на голые ноги надёрнул собачьи унты и вышел в сени, отодвинул засов.

– Входи... Морозец нынче...

Когда пришелец едва отошёл и челюсти его перестали выбивать частую дробь, Данила решился спросить:

– Откуда, не секрет, путь держите?

– Долго рассказывать, хозяин... А для сведения, чтоб никакого сумнения не было, ухажу от бандитов...

– Партизан, выходит?

– Партизан. Красный партизан, – помялся, оглянулся: в доме только хозяин, да на полатах спит подросток.

– В переделку под Бадаром попали: отряд наткнулся на засаду. Всех нас, молодчиков, перестукали. Как воробьёв на току... Мне посчастливилось. Правую ногу чуть только прихватило.

– Вот какая оказия! – посочувствовал хозяин. – Помощь, поди, нужна какая. А то... Как тебя звать-величать?

– Григорием... О ране не беспокойтесь: сам перевязал... Пустяки. Заживёт. Не такие, бывало, видел у дружков – зарастали. Народец мы дюжливый.

– Лошадка-то была?

– Под пулю попала.

– А винтовка? Гранаты?

– Куда с ними, пешему? Припрятал до времени. У вас-то как тут – тихо, мирно, банд не слышно?

– Бывает, заглядывают. Стороной не обходят.

– Що им здесь делать?

– Всё сообщников ищут.

– Знают, должно, что отзывчивые тут люди?

– Может, и так, а может, и наоборот...

Такой был разговор у Данилы с пришельцем морозной январской ночью. Утром Гришка засобирается в дорогу – отговорил сам хозяин, мол, лучше переждать, может, схлынут морозы, да и сил надо человеку набраться после ранения. Остаться гость согласился охотно.

...В ту ночь спал Данила мертвецки. Вечером справлял поминки по жене Федоре. Пришли соседи посочувствовать преждевременно овдовевшему мужику, в тепле засиделись, размлели. Данила, дождавшись ухода гостей, залез на печь и уснул. Гришка Безродный, вроде основательно подвыпивший, расстелил свой зипунишко на топчане, лёг отдохнуть. Лежал недолго, почуяв, что сон взял Данилу крепко, встал, вышел на улицу. Ночь была тихая, лунная, и Гришка подумал, что сегодня самый удачный момент свершить задуманное...

Проспавшийся Данила увидел утром пустую конюшню, потом кинулся в завозню – посмотреть драгоценные припасы. Дрогнув от приступившей разом обиды, Данила неуклюже повалился на землю. Обворовал злодей, Гришка! Старик Феопент, сосед, заглянул в ограду, когда Данила уже ясно всё понял. Гнедка, справного выездного коня, угнал Гришка Безродный!

– Вот рыжая стерва! Чтоб ему... За что же он тя, Данила, невзвидел? Данила отмахнулся, скорчился, словно от боли, и, ощупывая своё тело, всё ещё лежал в немощи:

– Принеси, дедусь, снадобья... Чую: разрывается сердце...

– Мне не жалко, да снадобье-то тебе не нужно: здоров ты и невредим.

– Рази? – Данила шевельнул плечами. – А вот чую: в груди что-то вроде оборвалось.

– От испугу, надо быть, что приключилось.

Данила замолчал, сосредоточился, прислушиваясь сам к себе, успокоился – ничего страшного. Всполошила опять пропажа драгоценного клада. Это о нём всё время допытывал рыжий Гришка, не давал покою Даниле.

– Поделим, Севастьяныч, россыпь.

– Нет у меня ничего, Гриха.

– А слышно было, не раз ходил в Саяны.

– Ходил. За зверем.

– Не затем, было слышно, ходил... Золото приносил... Вижу, как по ночам стережёшься. Сознайся... Мне твоего добра много не надо.

После разговора с Гришкой Данила, почуяв недоброе, перепрятал добычу. Вовеки не увидеть её пришельцу! Придумка Данилы ловка. Не соблазнится Гришка украсть кожаный мешок с пшеничным зерном, куда опустил золотую россыпь.

Выследил каким-то образом бес рыжий, куда ходил проверять Данила свой тайник. И вот пришёл час: Гришка вытянул из укромного местечка ссыпанные по-крестьянски в холщовый мешок золотые камешки и утёк на Даниловом молодом быстроногом мерине.

Решение Даниле пришло тут же, как удалился от двора так и не понявший ничего толком Феопент. Надо пойти по Гришкиному следу. Не скрыться бандюге! Данила исходил всю тайгу, знает чужие тропки и свои наторил. А Гришка – пришелец, в тайге слепец.

О своём намерении Данила никому не сказал. Обмолвиться, значит, открыть тайну и самому подтвердить, что в один счастливый миг он, Данила Севастьянович Егоров, в глухом затерявшемся в безбрежных Саянах распадке открыл не открыл, а нашёл золотиносную россыпь. В таком местечке, где до него человеческая нога не ступала. Он, Данила, хозяин своей находке и распорядится по своему усмотрению. Здорово мужику подвалило... Подвалило и отвалило...

Собирается Данила в дорогу недолго, бросил в суму суток на трое харчей, закинул за плечо берданку – и восвосяи. Перед самым отходом наказал Саньке, сынишке, стеречь дом и ни перед кем шибко не распространяться, где отец. Отправился в тайгу посмотреть капканы – и всё. Когда придёт, неизвестно. Уже у калитки вспомнил Данила о Чёртике, спустил с цепи, рукой махнул в сторону тайги: туда... Пёс, чёрный, как ворон, с острым носом и длинными ногами, с радостным визгом выпрыгнул из ограды и побежал, приносиваясь к дороге.

Гришка с самого начала, как только вломился в таёжную чащу, взял забросистой петлёй. Понял это Данила сразу, ибо Чёртик не мог ошибиться – обежал опушку полукругом слева, потом также – справа, в глубь, в глубь тайги – к Бутровскому хребту. Туда, безошибочно туда! Верный ориентир взял Гришка, видать, хаживал тут. Тропа самая доступная для конника, другой такой поблизости нету, и если осилить перевал, просто затерять след навсегда. Ошибся Данила, что Гришка рыжий – слепец.

Первую ночь провёл Данила в балагане, пристроенном под дуплистой столетней сосной. На заре, когда едва стала распознаваться голубеющей полоской тропинка, двинулся дальше. Шёл не торопясь, прислушиваясь к тайге, её разговору. Вот, кажется, тот отвилочек, по которому вышел Данила к берегу безымянной речушки и напал на золотоносный рудник.

...Берег остро скрежетал под ногами замертвевшей галькой, и Даниле показалось, что идёт он по волшебному скрипучему полу в пристанище каких-то таинственных существ. Вдруг глаза ослепил пучок яркого жёлтого света. Данила приостановился, отвёл взгляд в сторону – свет жёлтый пропал. Что за привидение? Не промаячило?.. Потом он снова, осторожно поворачивая голову, уловил встревоживший, отбрасываемый берегом, неотразимый луч света. Галька играет на солнышке, решил Данила и было успокоился. Такие, должно быть, здесь камешки – яркие, цветистые.

Не отвлекаясь от забавившей его мысли, он глянул себе под ноги и опять взяло недоумение: почему-то тут камни – обыкновенные камни. А ну-ка? Данила ускорил шаг. Укорачиваясь, искряться червонными бликами, потянулся ему навстречу жёлтый лучик... О-о! Данила не смог удержаться от тревожного восторга и, ослеплённый мечущими в его глаза искрами, упал на берег, распластав руки. Это же золото!.. Золото!.. Данила опомнился от прикосновения к щеке холодноватой пёсей морды, поднялся и собрал на ладонь несколько тяжёлых горошин. Попробовал на зуб, как бывало пробовал перед косьбой на спелость пшеничное зерно. Цветом то и другое походили, твёрдостью были неровня.

Некоторое время Данила сидел на гальке возле золотой россыпи, опасаясь пошевелиться. Он словно бы опасался, что от его неосторожного движения спрячутся волшебные камешки и грустно станет без их весёлых пляшущих искорок, доселе никогда не виданных. Чёртик лизнул руку, на ладони которой лежали золотинки. Данила с любопытством посмотрел в доверчивые пёсы глаза и понял, что Чёртик зовёт его домой: находились, намаялись вдоволь – пора в обратный путь.

– Глупый ты, Чертёнок, – дружелюбно заговорил Данила. – Ничего не понимаешь. Зовёшь домой и правильно делаешь, что зовёшь, но лучше бы сказал мне, безграмотному крестьянину, что же делать с этим добром... Ты видишь: мы с тобою сидим у бесценного клада. Говори: куда его деть? Собрать в котомку да унести домой? А что с ним дома?.. Это же не пшеничное зерно – не посеешь.

Пёс поводит носом, прищурил глаза, и вроде ответил растерявшемуся хозяину на своём собачьем языке: «Ты шибко, Данила, не печалься: клад не твой, его припасла природа, а ежели случаем наткнулся, увидел, так скажи людям. Не зарься сам, не жадничай».

Данила скинул с плеча котомку и, потеснив Чёртика в сторону, начал золотую россыпь сгребать и сыпать. Делал это неторопливо, степенно, играючи, и на лице его одухотворённом детская улыбка праздновала. Почему-то казалось Даниле, что сейчас он не на берегу безымянной речуги таёжной, а на своём крестьянском току. И сгребает не песчинки золотые – ядрёное зерно пшеничное. Лопата деревянная так и ходит по глянцевиной ладони гумна, вырос закуртанислся островерхий ворох, в нём зёрнышек миллионы. Это – его труд, его богатство.

А искры-песчинки? Зря протянул Данила к ним руки, запачкал. Никогда он не был падох на добро чужое, и сейчас оно не нужно, хоть и нет теперь при Даниле его прежнего достояния. Память о нём опять всколыхнула, отбросила в прошлое. Не хотел так вот Данила беречь

понапрасну душу свою, а куда денешься, волей-неволей золотистый галешник маячит ворохами пшеницы, из-за которой кое-чем поплатился Данила.

...Попал он в эти места не по своей прихоти. Запротестовал, когда дело коснулось твёрдого задания. Отвёз бы властям положенное количество хлеба – и был бы спокоен. Да по-своему захотел распорядиться, как привык распоряжаться за свою крестьянскую жизнь. Нашлась сила потвёрже, не устоял перед нею Данила.

День тот тревожный, круто повернувший жизнь, Данила запомнил крепко. Помнит и гумно, где всё происходило, и человека, с кем разговаривал не первый раз.

– Данила Севастьяныч, вам последнее слово: не отвезёте хлеб – пойдёте под революционный суд, – говорил тот человек с револьвером на поясе. – Советская власть не может мириться с теми, кто встаёт на её пути супротив.

– Хлеб нужен? Берите!.. Только и мне он тоже нужен, – ответил тогда Данила, а спорить больше не стал.

Через сутки дом опустел, подался Данила в иные края, где думал продолжить свою независимую ни от кого крестьянскую жизнь. Слухи привели в неизвестное ему ранее отдалённое село в отрогах древних Саян.

Жизнь свою Данила повёл вроде по-прежнему – без суеты, вдалеке от придирчивых представителей власти. В просторной долине нашлось для него несколько десятин свободной земли – распахан. Добыл плодовых семян пшеницы – хлеб стал хороший выращивать. Однако спокойной жизни не получилось.

* * *

Шум на улице Данила услышал, как только загасил слабо светившую пятилинейную керосинку и лёг спать. Вначале подумал: поднялся ветер, стучит ставнями, полотнищами ворот. Ветер – привычный осенний странник. Гуляет по оголённым лесам, опустевшим пажитям. Собирает по селениям летнее тепло – скоро зима, теплу оставаться незачем.

Данила прислушался: шум не от ветра. У ворот – конский топот, осторожный людской говор.

В ставень постучали. Данила вышел на крыльцо.

– Кого Бог послал?

– Свои, батя.

– Что-то не признаю.

– Да хоть и чужие – не бойся. Не тронем. Нам всего – отдохнуть часа три-четыре самим да и лошадок покормить надо.

В сумерках не сразу узнал Данила среди приезжих знакомого мужика. Прохор Дубов!.. Боже мой, кого вижу! Крепко пожал руку, дружески похлопал по плечу. Не виделись, прикинул в уме Данила, лет десять – пятнадцать... Прохор раздался в плечах, заматерел.

Спешились другие конники, поздоровались с Данилой за руку – вроде бы мужик неплохой, с Прохором разговаривает охотно, по-свойски.

– Так што, Севастьяныч, с ночлегом не откажешь? – спросил Прохор.

– Куды деваться? Вас сколя тут, молодцов?

– Дюжина.

– По половине, на две хаты разделимся. Одни – ко мне, других, можно помене, трёх-четырёх, к Аниске Гребневой определим. Вдова. Живёт почти рядом, через дорогу наискосок.

Отец Прохора Павел Егорович жил на Заплываевской, соседней с Даниловой, заимке, в округе слыл домовитым и хлебосольным хозяином. Частенько бывал у него в гостях Данила, шутил-разговаривал с парнем-подростком, вихрастым шалунишкой Прошкой...

А больше свидеться было будто и не суждено – уехал, покинул Данила родной угол.

Проход около года прослужил в колчаковском ополчении. Тоска... Смуть... Тоска – по родному дому, смуть – от неизвестности, что ждёт впереди. Одно в душе негасимое желание – скорее на родину! Ждут мать и отец – пахать землю, вести хозяйство. Ждёт невеста Настя.

Покинул ополчение Проход на безлюдном полустанке под Тайшетом. В утренней полумгле никто и не заметил, как он спрыгнул из тамбура вагона и скрылся в лесу. Ушёл без винтовки, с малой долей, на самый крайний случай, дорожного харча. Не попутчик боле Проход адмиралу Колчаку – дороже всего на свете мирские дела!

Не более года в доме шло по-людски, обычаем неторопливой, выверенной наперёд умом и опытом крестьянской жизни. Набирался Проход от отца смекалки – соседи завидовали его смелой мужицкой разворотливости. В поле, на скотном дворе – Проход хозяин. Свой! Зряшной работы нету, всё нужно и важно. На подворье – удойные коровы, две пары сытых лошадей, есть уже и конная сеялка, и жатка, на гумне – молотилка. Хлебом полны амбары...

И всё, как в пропасть, рухнуло на глазах. Обор подворья местные активисты начали со скота – угнали коров, лошадей, потом добрались до машин, домашней одежды и утвари.

За противодействие представителям новой власти хозяин подворья Павел Егорович Дубов был сослан, мать не пережила издевательства и унижения.

Увидела Федора Семёновна в «комиссионке» своё подвенечное платье, в городе купленные оренбургскую шалку да плюшевую жакетку (сама осталась в холщовой юбчонке) – зашло от обиды сердце, смертельно заныла душа. Кто поймёт? Кто утешит? Еле-еле добралась домой, шла на своих ногах, а дальше держаться – повалила крутая хворь – уже не смогла.

А красавица Настя? Отвернулась она от колчаковского прапорщика Прохода Дубова.

Поздними вечерами, а иногда и днём стали являться к Проходу недовольные произволом мужики. Говорили возмущённо: «Срам! Позор! В скотину мужика превратили. Пора сказать: «Хватит!...»

В отряд набралось около сорока человек...

Под Бадаром отряд прапорщика Прохода Дубова встретился с чоновцами. Перестрелка длилась часа полтора. Убитые были с обеих сторон, больше – из сподвижников Прохода. Отряд отступил. По просёлкам, опушкам перелесков и падам ехали пораженцы, пока не наступило время ночлега.

...Время – за полночь. Разговору не видно конца. В Даниловой груди клокочет тревога:

– Проход, куды теперича?

– За кордон.

– Куды?! Чужая земля!

– И тут всё родное стало чужим. Душа не на месте – оторвали от корня... Революция... Классовая борьба... Брат на брата, село на село... Что ж тогда человек на земле значит? Не для того же рождаются люди – сводить в могилы друг друга! Не могу это видеть, батя! Не могу!

– Буря утихнет, Проход. Я так думаю: отыщут люди свою пристань. Не сядни, так завтра.

– Сыт по горло и тем, что подали.

Данила не спал – сидел на крыльце, выходил за ворота, прислушивался: нет ли погони? Обнаружится – поднимай тревогу да провожай поскорее гостей.

Утро явилось хмурое. По всему было заметно: соберётся первый в этом сезоне снег.

Лошади стояли в ограде готовые в путь. Проход спросил, какая дорога надёжней. Данила ответил – та, что проходит через Бугровский хребет.

* * *

Проводив гостей, Данила с Федосьей насилу успокоились. Кого приветили на ночлег? Супротивников новой власти! Кто поверит, что он не враг новой власти и не виноват, что приютил земляков.

После отъезда случайных гостей не прошло и получаса – затрещала завозня вдовы Аниски.

К её избе сбежались Феопент, Архип и Агафья Багровы, трое Коршуновых – Анисим с Прасковьей да их десятилетний сынишка Федотка. Данила распорядился – кого куда: одних носить воду с Нии, других из колодца.

Федосья далеко ходить не могла, встала с Федоткой поближе, у колодца. Такая беда – каждому надо что-то делать. Колодец глубокий, бадья поднимается тяжело. Федотка помощник робкий, вьётся вокруг шеста, норовит захватить – дотянуться не может. Огонь уже показался над крышей завозни... Ветер с Нии тянет в сторону длинного ряда домов. Федосья торопится, не слышит крика понявшего опасность Данилы – бросить бадью и отойти от места пожара...

А пламя рванулось дальше, охватило ещё несколько построек, шло и шло, пока не наткнулось на покрытый свежим снегом пустырь.

Федосья еле-еле забрела в избу, легла на кровать и была теперь в судорожном трепете – мучилась преждевременными родами. Возле неё, плача, растерянно стоял Санька. Данила поспешил за бабкой-повивалкой. А в это время уже совсем изнемогшая Федосья сказала Саньке последнее слово:

– Сынок, милый, прощай...

* * *

Печаль не вечна. Пережил Данила страшную беду и после находки золота на берегу безымянной речки жизнь его обрела вновь какой-то смысл. Данила повеселел, почувствовал не в теле, а где-то рядом, сбоку неизбежную силу, с нею он вроде связан был нитями, которые не видел ни сам, никто другой. Но Данила-то знал, что нити протянуты и оборвать их может только он сам. Да вот отыскался совсем другой человек – Гришка Безродный, лишил и силы, и чувства радости. Не пошёл бы Данила за воров, если бы не ощутил в душе тоскливой пустоты. Не надо ему никакого золота, лишь бы в сердце был покой.

... След Гришкин, как чуяла собака и предполагал Данила, уходил к Бугровскому хребту. К исходу второго дня, изрядно подуставший, Данила добрался до полузаброшенного охотничьего зимовья. Растопил печурку, прилёг. Вдруг пёс забеспокоился, подбежал к дверям и коротко взлаял. В ответ отозвалось конское ржание. Почудилось, решил Данила. Откуда в глухой тайге лошадь? Данила вышел из зимовья, нет не обознался – в таёжной тишине теперь явственно слышен запальчивый конский храп. Господи, неужели?

– Гнедко! – обрадованно позвал Данила. Вот он, голубчик! Прискакал. Мерин нервно прыдал ушами, мелко дрожал припотевшим крупом. Разве бы отпустил Гришка меринка по своей волюшке? Добрался какой-то хитростью до уздечки да отпустит! Гришке надо было, чтоб Гнедко летел во весь дух всю дороженьку – и сегодня, и завтра: надо было ко времени поспеть к условленному месту, за Бугровский перевал, туда, куда ушли, где скрылись недобитые бандиты. Видно, Гнедко заподозрил что-то неладное в поведении незнакомого наездника, должно быть, вспомнил ту пору, когда его приучали к узде. Тогда не раз понарошке пытался он сбросить со спины хозяина, да жалел – ласковый был у него хозяин, плетью не стеганул ни разу, только в руках держал её для показа. А этот добрался – и плетью свищет, и удила дёргает, губы в крови.

В разбеге поднялся Гнедко на дыбы, чуть не лёг сам на спину – Гришка не удержался в седле и в растерянности опустил поводья. Того и надо было Гнедкю, повернул по своему следу в путь обратный. Так или иначе сделал мерин, но Данила стал размышлять, как поступить ему дальше. Гнедко облегчил его положение.

На сей раз Данила хотел подняться пораньше, до зари, чтобы побольше времени провести в пути. Но вышел только с рассветом. В полночь забуровила метель, и, пока не развидняло, выходить не решился.

* * *

...Гришка Безродный после удара о затвердевшую землю с полчаса не мог подняться. В голове шумело, скрипело, будто поставили жернова и те крутятся, перетирая в пыль песчинки. Наконец, обхватив руками сосенку, привстал, пошатываясь. Нащупал на боку мешок с поклажей и успокоился: покачивает не от бессилия – выводит из равновесия порядочный груз. Всё хорошо! Никогда не был Гришка счастлив, как сейчас. После смертельного падения остался жив и всё достояние с ним. Можно идти. Куда? Только вперёд! За перевалом уже заждался атаманчик, ходит, прижав рукою кобуру. Вышло отведённое Гришке время – должен быть уже на месте.

Через час-полтора торопливой ходьбы Гришке захотелось есть. А где же котомка с остатками ржаной буханки? Потерял! Осталась у седла, на коне. Закурил. От затяжек крутого дыма усилилась тошнота – отбросил самокрутку подальше в чистый снег. Ожидать нечего – надо идти.

Тропа повела меж загустевшего стройного сосняка в распадок. Идти под уклон, казалось, должно было бы легче, но Гришка облегчения не почувствовал – груз клонил к земле и с трудом приходилось удерживать равновесие. Он выломал сосновую сухостоину-бодожок и, опираясь по-стариковски, преодолел спуск. Глянув на далеко простёршуюся лошину, застрашился – хватит ли сил пройти? Он норовил отклонить насторожившую мысль, но тут же смирился, ощутив усилившуюся вялость в ногах. Выбрав поудобнее кочку, присел отдохнуть. Утомлённо прижмурились глаза – потянуло на сон. Гришка тряхнул головой, знал: переутомлённым спать на морозе нельзя, можно заоченеть совсем. Поднялся, оперся на бодожок, пошел.

Мелкий шаг оставлял на нетронutom снегу рваные колеи. Проковылял ещё километра полтора-два, когда почувствовал: идти почему-то стало вдруг легче. Обрадовался: прибавилось сил после отдыха. Надо почаще приостанавливаться. Гришка сообразителен.

Тихо, легко шуршит под ногами крупитчатый снежок. Сто – двести метров вперёд! Не торопится теперь Гришка: никуда не денется атаманчик, подождёт. Раз отправил за добычей, то подождёт. Цари, короли, всеильные владетели престолов ожидали искателей драгоценного металла... Неожиданно Гришку будто кто-то отдёргнул назад – пошатнулся. Чудо! Овернулся, глянул на след – припорошен снежком. Понял: ослаб порыв ветерка. Это он начал гулять, заигрывать по долинке и мягко, совсем не слышно подтолкнул Гришку в спину. Ага, помощник сыскался! Гришка от предчувствия удачи возликовал, расстегнул зипунишко, разбросил в стороны полы. Парус! Неси ветерок по долине! С новым порывом прошёл ходко ещё метров сто – двести.

Заиграла метель. Ни земли, ни неба – одно белое месиво. Идти стало невмочь. Груз теперь совсем не по силам. Гришка сбросил с плеча поклажу, присел и, скрючившись, запахнулся полами зипунишка. В голове не было мыслей, кроме одной: что делать? Идти! Идти, пока окончательно не оставят силы. Иначе – верная гибель. А что с поклажей? Не унести! И в отчаянии рассудил Гришка по-хозяйски. Он дополз до ближайшей сосны, разгрёб у комля её снег и выковырял суком яму. Надо отсыпать часть золотых камешков – все не унести. Развязал затвердевший на холоде кожаный мешок, сунул в него руку. Что за чёрт! Зерно! Никакого золота нету. Сгрёб мешок и со злости швырнул в сугроб.

Кусочек бы, крошку хлеба! Горсть золотого песку не пожалел бы Гришка за ломтик хлеба. Двумя комочками снега утолил Гришка жажду, бросил в рот сосновую веточку, разжевал, с трудом проглотил, потянуло на рвоту. Сплюнул, отдышался, закинул на плечо котомку, пополз...

Отойти надо с буйного места подальше, в глубь леса. Там затишье и потому теплее, может, удастся развести костер. В кармане огниво. Если трут не намок, можно добыть огонёк. Одолел Гришка ещё метров триста, и сквозь метельную пелену проступил перед ним серым квадратом какой-то предмет. Нанесло смоляным дымком. Зимовье! Гришка разгрёб снежный сугроб, подобрался к двери. На всякий случай нащупал за пазухой нож...

...Данила, как началась метель, сбился с Гришкиного следа, не мог помочь ему и притомившийся Чёртик. Пёс метался из стороны в сторону, но не улавливал нужного запаха. Оказалось, что пёсий нос наткнулся на чьи-то другие следы, более свежие. Обозначились они правее, но тоже – в долину. Данила доверился осторожному псу.

Метель всё ещё погуливала. Гнедко вышагивал неторопливо. Чёртик то забегал далеко вперёд, то вновь возвращался по своему следу – вёл уже к какой-то близкой цели. Неужели неподалёку затаился Гришка? Чёртик не подведёт, первым подаст сигнал об опасности. И тут же пёс подряд раз три отрывисто гавкнул и встал, настороженно глядя на хозяина. Данила положил берданку на луку седла. И обомлел Данила, когда, приблизившись, увидел, что Чёртик стоит со взъерошенной по спине шерстью возле человеческого трупа. Гришка! Не выстоял брести по метели...

Данила спешился, и, перекрестившись, наклонился над трупом, смахнул рукавицей с одежды чуть взявшуюся корочкой порошу. Нет, ошибся! Отдал Богу душу другой человек, Даниле не известный. Он стоял возле мертвеца, соображая, как поступить: оставить труп на поживу шатуну-медведю или же каким способом вырыть яму и забросать землёй. Склонился к мысли – пока оставить: нечем вырыть могилу. Мертвеца можно прибрать попозже...

Данила махнул псу мохнаткой: вперёд! Взял мерина в повод и пошёл вслед за собакой.

Пурга потешалась, в прогалы между деревьев снег густой оседал лавиной. Данилу клонило к отдыху, нужно было подыскать укромное местечко, но его он не видел. Да и не надеялся найти подходящую стоянку вроде зимовья, потому что знал – в отдалённых таёжных урочищах редкий охотник оставлял пристанище. Люди бывали здесь главным образом коротким путём, и потому он не поверил себе, когда почуял запах дыма. Опять обманулся Данила, как с трупом? Но вот что-то заподозрил и Чёртик, присел и весело тьякнул, насторожив морду в сторону от следа. Там седым пятном маячило строение. Теперь Данила не сомневался, что набрёл на зимовьюшко и что, видно, мертвец тот был его хозяином. Но и сейчас есть там душа живая!

Данила с усилием открыл прихваченную льдом дверь и остановился на пороге, поражённый: за сколоченным из неоструганных досок столиком

– Гришка. В зипунишке, без шапки, лицо потное. На столе – котелок, кружка, хлеб – одна целая коврига, другой – половина.

– Данила... Севастьяныч? – Гришка сверкнул воспалёнными глазами, привстал, сунул за пазуху правую руку.

– Сиди, Григорий, сиди. Ежели за ножом потянулся, то и это не надо... Не убивать тебя я пришёл. Какой из меня убивца?

– Так че ж тогда?..

– Да ничего, Григорий... Ежели встретились сызнава, так поговорим и разойдёмся. Движемся по разным путям-дорогам, как и до этого двигались. Только вот последние двое суток мы вроде по одной тропе друг за другом поспеваем. Ты, как отправился со двора моего, не брал ничево?

– Была котомка холщовая с хлебом.

– Где же она?

– По дороге оставил.

Данила взял на изготовку берданку.

– Хватит, Григорий. Поднимайся. Нож оставь... Выходи.

– Куда? – повиновался Гришка. – На расстрел?

– На улицу выйдем.

Гришка, низко наклонив голову, шагнул через порог. Данила подвёл его к лошади, показал на привязанный к седлу холщовый мешок с краюхой хлеба.

– Про этот мешочек ты говорил, Григорий?

– О ём.

– И ты привязывал его к седлу?

– Я.

– А где воровская поклажа?

Гришка растерянно посмотрел на Данилу: дальше врать бесполезно, этого человека не проведёшь, упал на колени, взмолился:

– Данилушка, пощади... Всё возверну, всё отдам – не лишай только жизни.

– А кому нужна жись твоя пакостная? Отцу с матерью? Жене? Детям? Кому другим?..

– Чё же теперь? Помирать? А-а, Данила Севастьяныч?

– Что прикажу, то и сбудется. Сёдни я тут и судья, и исполнитель приговора. Вишь ту сосенку, правее зимовьюшки? Иди и становись к ней.

– Сев-сть-ныч... Неужели у тебя сердца нету?

– Для тебя, Гриха, нету... Одним гадом на земле будет меньше.

– Я какой гад, Севастьяныч? Гад из гадов – атаманчик! Он толкнул меня! Его б в первую голову надо к сосне. Севастьяныч, смилостивься!

Данила посмотрел на Гришку спокойным, уравновешенным взглядом, в нём Гришка видел неотступную решимость и покорился ей – сжав плечи, повернулся к сосне, однако Данила его окликнул:

– Погоди малость, Григорий. Я позабыл спросить, где сейчас атаманчик?

– Не убьёте – скажу.

– До места того довести сможешь?

– Туда шёл... Как метель поутихнет. Не сёдни. Переночуем – тогда...

Топить на ночь печь Гришка наносил дров, скипятит ещё котелок чаю, позвал Данилу за стол. Сели по краям, лицом к лицу. Данила всем встревоженным нутром чувствовал в Гришке врага. Ведь самым бессовестным образом врал, когда говорил, что отстал от партизанского отряда. Вор и бандюга! Как же получилось, что, дав зарок, если найдёт, прикончит его, Данила смилосердился, посиживает за одним столом и чаёк попивает. Затмил корыстью какой-то чистую крестьянскую совесть. Было ещё не поздно исполнить свой завет, но Данила чувствовал, что в душе что-то переменялось и теперь он уже не сможет поднять руку на сникшего, сгорбившегося Гришку.

– Мы вот сидим с тобой, Григорий, – заговорил после продолжительного молчания Данила, – чаёк горячий в наслаждение попиваем. Вроде бы добрые соседи сошлись. А на самом деле, кто мы? Скажи-ка мне, дорогой, не скрытничай.

– Да я всё сказал, Севастьяныч, – Гришка поставил на столешню тяжёлую, смастерённую из витого берёзового корня кружку, зверовато поглядел на Данилу. – Что не сказал, так сами теперича знаете.

– Бандит ты, Григорий!

Рыжий уткнулся носом в столешню, спрятал глаза:

– Был в их отряде... Прожил недели четыре.

– Што так недолго?

– История одна произошла. Не совсем приличная история. О ней и рассказывать одно неудобство, а придётся, иначе не поверишь.

– Ну, давай говори, раз дело такое.

Гришка оторвал взгляд от столешни, сверкнул остро белками глаз:

– Всё дело-то связано с атаманчиком. Понимаешь, Севастьяныч, с него началось... По-первости скажу, как я попал в их отряд. Заманили они меня, как зверька в ловушку, на приманку пошёл. «Ты, Гришка, – сказал атаманчик, рождён для жизни большой и великой, сильный ты человек и многого добьёшься, если станешь на путь истинный. Не Советы тебе нужны, с ними ты пива-браги не сваришь. Да и времени для жизни отведено им мало, народились и умрут, похоронят их. Чуешь: со всех сторон наступают, ключья летят от красных шинелей. Неужели не видишь?» – «Вижу, – говорю, слышу: тревожно в мире. Только один умный человек говорил, что слово решающее за Советами. За ними народ потянулся, а кто против, тех мало». – Тогда атаманчик воскликнул: «Не мало их! Тысячи и миллионы. Тысячи – это вот такие, как мы. Миллионы за морями, за океанами. Чуешь ты, Гришка? Не теряй времени...»

За первый бой с красными атаманчик наградил меня именной саблей, а спустя несколько дней я чуть ею не прикончил его. В моё отсутствие (я отлучался по продовольственным хлопотам) отряд обосновался в одном селе. Не буду оглашать его название... Я вернулся в отряд и узнаю, что атаманчик взял грубой силой девчонку – мою двоюродную сестричку. «Ну, держись, гадина!..» – злость во мне кипела от обиды и от бессилия отомстить. Я стал ждать удобного случая. Подвернулся он не сразу, но всё же подвернулся, и я полосанул саблей атаманчика, хотел напрочь снять голову, да чуточку промахнулся, угадал по плечу. Атаманчик остался жив. Я некоторое время в бегах находился, а потом, пойманный, предстал перед ним. «Жить хочешь, Гришка?» – спросил он меня. А кто жить не хочет? Самая последняя тварь и та хочет! Разбойничью выходку твою, говорит, прощу, ежели исполнишь поручение... Так и оказался в твоём доме.

– И кого ты теперь виноватым считаешь, Григорий?

– А пойми – кого считать!.. Перед тобой, конечно, я виноват. Никто другой.

– Ну ладно, хоть тут хватает у тебя совести признаться. Где з-золото, п-пшеница?

– З-зол-ло-ото? Не брал, Данила. Ей-богу! – посмотрел весело. – Брал мешок с зерном – коня покормить в дороге. Мешок по пути оставил. В долине, к востоку отсюда.

– Далеко?

– От зимовья вёрст пятнадцать...

– Ограбил ты меня. Пшеницу берёг на посев, а ты в снег бросил. Не по-людски так!

– Чево о том бедовать – вырастишь ещё.

– Семя было. Оно дороже золота.

– Хошь – принесу мешок. Найду. Где оставил, помню.

– Не надо. Сам схожу.

Гришка смотрит на Данилу внимательно. Почуял нутром: сам клад из рук своих выпустил.

– Без проводника не дойдёшь, Данила?

– Сказывал же, где то место.

– Мог ошибиться... Пурга мела. Могло только показаться там, а на самом деле осталось в другом месте. Пойдём оба. Чиво добру пропадать.

– Погоди, надо подумать.

Данила тем временем думал о другом. Где взял Гришка столько хлеба? В мешочке у седла осталась маленькая краюха, и ту умчал меринок. Неужели столько хлеба оставил в зимовьюшке какой-то охотник? Загадочно! И тревожно.

– Григорий, откуда у тебя столь хлеба?

Гришка смотрит оторопело, не ожидал такого вопроса.

– Хлеб в зимовьюшке был, Севастьяныч.

– Кто оставил?

– Должно, бывалый охотник... Не застал я его.

– А человека мёртвого тут, поблизости от зимовья, не видел? Теперь его всего снегом принакрыло.

– Чел-в-ка? – сорвался, потускнел голос у Гришки. – Не, Сев-сть-ныч, туда не ходил.

– Похоже – его убили...

– Да ну? – расширил вспугнутые зрачки Гришка.

...Скучно, неуютно шатуну-медведю в глухой тайге. Бредёт один-одинёшенек, смертный голод заставляет переваливать с кочки на кочку, с бугра на бугор. Ходит он тихонько, суясь мордой в коренья, вокруг старых сосен в надежде найти что-нибудь съестное – и, ничего не найдя, опять тащится по неведомому пути. Напрасно водит чутким носом, стараясь уловить знакомые запахи – мертва, совсем не отзывчива сегодня метельная тайга. Запорошило, позакрывало снегом все мышинные тропки и косачиные следы – трудно распознать и раздобыть что-нибудь. Сел под старый кедр, зевнул, смахнул уставшей лапой с морды подтаявший снежок – решил побыть до утра. Прилёг на рыхлую снежную перину, положил затуманенную голову на передние лапы, дремно прикрыл глаза.

Скрипнул от тугого порыва ветра морщинистый кедр – медведь вскочил, приподнял, наострил ухо: почудилось, что старое дерево пригрозило повалиться и придавить.

И в эту минуту почуял где-то впереди смутную надежду поживиться добычей. Буровя грудью опавший снег, поковылял косолапый к смутившей его голодный покой приманке.

...К утру на месте, где покоился мертвец, остались полузанесённые снегом звериные следы да клочья разодранной одежды.

– Тут вот он лежал, убитый, – сказал Данила. – Вишь, яма в снегу. Гришка, не увидев мертвеца, приободрился:

– Был ли кто тут? Лежал?

– Будто не видишь? Шатун побывал тут.

– Может, просто лежала одежда какая – толком не разглядел, что было.

– Ты, Гриха, не заводи рака за камень. Не уводи в сторону.

...Улучив минуту, Гришка когтистой рысью вцепился в размягчённого благодушием Данилу, повалил на снег. Ядовито сверкнул в правой руке заточенный крючок. Ойкнул глухо Данила, ощутил острую боль в надбровнице, потекла по щекам кровь.

– Гришка!.. Ты что, гад?

– Чтоб тропу к золоту больше не угадал.

– Глаз лишить захтел, варвар! Свету! – Данила изловчился, собрался с силами, вывернулся из-под Гришки и поднялся буен, свиреп. Ну, держись, варначина! Только бы уцепиться покрепче за что-то, зипунишко на Гришке дряхлый, порвётся. Надо ухватиться за пояс... Данила, бывало, держал надёжно увесистый колот, размашисто бил по кедру, и после удара градом сыпались ореховые шишки. Пояс в ладонях. Прячет в грудную распашь окровавленное лицо Данила. Повис костлявой сухостоиной на его напрягшихся руках Гришка. Полетел камнем, кедр вздрогнул легонько, осыпал снежную крупу.

Но миновала Гришкина голова окаменевший комель, чуть тронул он его рукою и вёртко встал на ноги. Опять Гришка накрыл своим потерявшим всякую чувствительность телом Данилову голову, кружит по надбровнице хищным крючком. Повисло, расплылось на крючке что-то бесформенное с кровавыми нитями... Крякнул от жгучей боли Данила, поднял на хребте Гришку, успел схватить его за взмокшую тощую шею и повалился, теряя сознание.

Очнулся Данила спустя час-полтора и не сразу понял, что произошло. Не сразу разобрал он – ночь или день. И только когда нащупал не потерявшими чуткость пальцами один утраченный глаз и разорванное веко другого, в немочи обхватил, словно кровное дитя, безмолвный кедр. Как же это будет жить теперь Данила на белом свете, его не видя? Лучше и не жить так! Где берданка? В зимовье осталась. Не далеко до него – доковыляет Данила. Позовёт Чёртика – тот прибежит, укажет дорогу. В берданке два патрона с картечью. Даниле хватит и одного.

Только... Санька не будет знать, где отец. И он, силясь изо всей мочи, крикнул, полагая, что сын где-то рядом и откликнется немедленно:

– Сань-Сань!.. Сын-ко-о!

Данила услышал далеко раскатившееся эхо, и опять вокруг всё стало тихо-тихо. Он отстранил от кедра голову и ощутил в левом глазу острый лучик ярко-белого света. Померещилось, что ли? Он теперь уже не верил самому себе, боясь потерять мягкий тоненький свет, и осторожно прикрыл глаз ладонью. Лучик потух, оборвался. Какое-то время Данила стоял так, разбираясь, чтобы всё это могло означать, и смутно стал догадываться, что его левый глаз жив. Веко поранено, в крови запеклось, а глаз видит. Он подрагивающими пальцами приподнял веко и стал оглядываться... Гришка лежал распластаный на снегу, книзу лицом, в выкинутой его правой руке острился закровеневший стальной крючок.

– Гри-г-рий!.. Вставай. Простынешь. Снег тебе – не перина, – словно о сыне забеспокоился Данила. – А-а, подымайся... – Гришка молчал. Данила понял: он мёртв и ничего не ответит, однако по внутренней потребности, что ли, высказаться, продолжал свой монолог. – Какой же это смертушкой сгинул-то ты, Григорий? Кто тут из нас греховен?.. Так выходит, что я, потому что жив, а ты лежишь охолодевший, – постоял, подумал, содрогаясь от собственных мыслей. – Нет, земляк, ты сам положил на себя злую руку... – И пошёл к зимовью.

Клад в пещере

Пора сказать о моём детище – пшенице «таёжной». Зреет, колосится она на опытных полях и подаёт надежду, что скоро выпорхнет птицей на широкий простор. Всё клонится к счастливому моменту, ожидаю его с замиранием сердца, как мать рождение своего долгожданного дитя. Я рад, что «таёжная» не попала в руки другому человеку. Могла затеряться. Почему же я так говорю? Проснулось во мне эгоистическое чувство, что ли? Может быть, и расшевелилось, но лишь от сознания того, что много я сделал для спасения «таёжной».

Ещё там, в селе Хлебном, когда мы путешествовали с Ефимом Тихоновичем и слушали печальную исповедь Данилы Севастьяныча Егорова, я всё пытал себя мыслью, куда же девалась знакомая уже нам пшеница. Не видели мы её ни на полях в могучем колосе, ни на столе в виде белых душистых калачей. Не раз я закидывал удочку, чтобы выудить у Данилы Севастьяныча тайну, но тот уклонялся от прямого ответа, сожалея, говорил, что все посева ещё прошлой осенью, перед самым обмолотом сгубили бандиты. Подозревали они жителей в связи с красными партизанами. Хлеб не должен был попасть их врагам.

Равнодушно внял Данила и тому, что я напомнил ему о встрече на рынке и обещании не отказать в небольшом количестве семян, если когда-либо удастся побывать в его краю.

Однако я чувствовал, что он вроде бы что-то скрывает, пряча взгляд, таит в душе какую-то недомолвку. Я не ошибся. Перед нашим отъездом он не сдержал потаённых чувств – открылся:

– На что вам, ребята, пшеница моя?

– По учёной линии... Возьмём семена. Посеем. Посмотрим на урожай, каков будет. Оценим пшеницу.

– Её и так видно – плодоносная.

– И к болезням устойчива?

– Вроде не примечалось. Только вот заметно полежала. Когда на ветру подолгу стоит.

– Вот, вишь, это уже плохо. Колос должен держаться, пока не скосят да не обмолят.

– Рази человеку это под силу?

– Всё можно: и соломину крепче сделать и защитить колос от вреда.

– Вон как!.. – Данила удивлён, заворожен. Разве способен он, Данила, сделать, чтобы пшеница не полежала. Это что же к каждому колоску вторую соломину надо. А как приставишь

её? Нет, тут мужики явно туманят голову – чтоб выманить семена. Подсмотрят, где хранится, и вместо пудовки, которой ему по честности и не жалко, выгребут всё до зёрнышка... Доверился тогда Данила рыжему Гришке – и накликать вечную беду на себя, чуть совсем не лишился божьего света.

Удивлён и встревожен Данила. Что делать?

– Ребята, а ежели я найду вам семян, что тогда будет?

– Кроме добра – ничего, Севастьяныч. Добра для людей. Все они будут хлеба есть вдоволь.

– Так-то ежели... – Данила махнул рукой – мы вышли с ним за ворота. Верстах в полутора от села тропа круто свернула в стиснутую невысокими скалами узкую падь, потом привела в пещеру. Здесь в вечном полумраке, на скользком холодном выступе, спрятал Данила от разбойного глаза хлеб. Он укрывал его, стерёг от худых людей.

Когда Данила обшаривал каменный выступ с надеждой нащупать поклажу, крысы, давя друг друга, кинулись в глубь пещеры. Эхо разнесло их тревожный писк. Крысы!.. Десятки крыс! От страха ойкнул тревожно Данила... На выступе удалось собрать всего две-три пригорошни зерна.

– Вот сколя осталось... Не взывайте, – досадуя, сказал Данила. – Что поделаешь? Крыса тоже существо земное... Если б знала она, что людей обокрала...

Перед выходом из пещеры, когда миновали её прохладно-липкую сумеречь, Данила остановился:

– Надо поглядеть, ребята, что осталось.

Он ссыпал зёрна на разостланную по земле мешковину, присел на корточки и перебрал их руками, словно просеял в решете. Некоторые зёрна были раздавлены – наполовину и мельче, Данила оставил их в кучке по правую руку, а целые передвинул налево. Образовался маленький игрушечный холмик песка, какие делают, играя, увлечённые ребяташки. Нагребут они несколько пирамидок подряд, налюбуются и разрушат без жалости. Данила напоминал мне в эту минуту замороженного игрою мальчишку, только и различился от него тем, что холмик предстояло смести не самому ему и не без жалости – теперь эта людская утеха и надежда принадлежала мне.

– Не всё потеряно, – ответил я.

Напоследок меня подхлестнуло узнать, откуда в Хлебное пришла столь приметная пшеница. Данила не сразу понял вопрос.

Откуда же ей взяться, как не с его поля? Он её сеял, ходил с лукошком по пашне и горстями разбрасывал семена, самодельным серпом срезал и обмолачивал тоже тяжёлым самодельным цепом.

– Да не, Данила, о другом хочу знать, – выслушав, ответил я крестьянину. – Кто дал вам семена?

– Один знакомый. Местный житель, – вроде бы с упрёком за моё непонимание сказал Данила.

– А тот где взял? Не слышал?

– Э-э, вон чем любопытствуете, – Данила поднял голову, ушёл в себя – задумался. – Как не слышал? Слышал, знаю. Давнишнего роду она, пшеница-то. Говорили, от какого-то дворянина-бунтаря она свою родословную тянет.

– От декабриста?

– Вроде от его... Того царь запропастил в наши дикие края. Он обосновал наше поселение, долго жил тут. И умер тут.

– Есть могила его?

– А вот про могилу, рассказывают, затерялась. Как получилось, сказать не могу. Не было хранимого надгробья, что ли?

– Найти бы.

– Сколь раз обходил могилы – не заметил, ничего подобного не нашёл. Стало быть, надгробья доброго сразу не поставили. То б куда она девалась, могила-то. Вон видели: я-то убитому мужику Федоту Бугрову положил надгробье – на век останется... А-а?

– Останется. И декабрист всё равно в памяти. След в жизни всё равно он запечатлел. Пшеницу в наследство оставил.

– Богатое наследство. Я дорожил им...

– Мы его сохраним и умножим...

Надёжно спрятав зёрна в суму, мы доставили их на опытное поле. Первый раз я посеял их в своём огороде на вскопанной лопатой грядке – поближе к рукам, чтобы можно было доглядеть в любой день, в любую погоду. Важно, когда растение под неотрывным наблюдением – оно вроде бы чувствует заботу и раскрывает свойства свои сполна. Занежилась той осенью пшеничка, пришлось соорудить над грядкой шалашик – он-то и уберёт посевы от заморозков. Огорчила меня такая история, но иначе, должно, и быть не могло. Перекочевала пшеница из местности, где была тёплая, безморозная осень, и времени вызреть там ей хватало. В наших краях властвовал климат пожестче.

Прошло шесть лет. Опыты продолжал. Добытой с большим трудом пшенице предстояло теперь сократить вегетационный период и повысить урожайность. Секретарь райкома Округин, как и обещал, приехал посмотреть посевы в начале осени. Неторопливо обошёл вокруг делянок, потом пригляделся к колосьям со стороны, с межи. Спросил:

– Как «таёженка»? Подаёт надежду или нет?

– Теперь верю: будет хорошая пшеничка.

– Народ ждёт нашего хлеба!

Сегодня секретарь райкома был настойчивее и решительнее, чем прежде. Мне приятно было видеть его озабоченность.

* * *

На этом и прерываю доставшиеся мне по счастливому случаю записки. Прерываю потому, что конец их пропал вскоре после прочтения. Восстанавливать по памяти то, что писал Иосиф Петрович, было бы безнравственно да и безнадежно. Однако частью содержание исчезнувшего текста я всё же передам в последующих главах повествования.

Глава X

Что я видел тогда, мальчишка, в полуопустевшем Хлебном? Чем жил, чего хотел?

Видел человеческие страдания и догадывался, откуда они: какой-то злой человек накопил их и вот сейчас пригорошнями разбрасывает по белу свету.

Душила тоска по матери – почему не захотела она жить? На меня или на отца рассердилась? И вот ещё беда – лежит с перевязанной головою отец.

Видел Саянские горы. Особенно нравились они летом – вершины сияют на солнце светлой синевой, такой поблизости нету, и хочется дотянуться до неё руками и потрогать.

Видел хлебное поле... Отец с матерью говорили о нём постоянно. Зимой – что надо вывезти со скотного двора на пашню навоз, весной – что засеять. Осенью, когда поспевал хлеб, мать выносила из завозни серп-полумесяц и уходила жать на целый день.

Жил мечтой узнать, где и как живут люди. Хотелось посмотреть, что есть за Саянскими горами. Откуда берётся и где кончается Ния?

И все мечты, все желания сходились теперь к отцу – ждал его выздоровления. Однако поправлялся он худо – неуступчиво медлительно выходила из его отёкшего тела хворь.

Наблюдая за лежавшим в тепле на русской печи отцом, дед Феопент думал, что жизнь его добрейшего соседа тянется к исходу. Не видел старик, что какая-то сила может поднять на ноги вконец ослабевшего мужика. Разные снадобья, тайнами которых авторитетно распоряжался Феопент, помогали больному мало, только поддерживали его дыхание на одной устоявшейся ступени, подняться с которой больному представлялось Феопенту теперь немислимым. И потому старик счёл необходимым, вопреки всем людским понятиям, заблаговременно подумать о некоторых крайне необходимых предметах. Из старых запасов настрогал Феопент на всякий случай несколько тесин. Понадобятся, так не бегать в их поиске, если беда стрясётся. Тёс приберёт из опасения, чтобы не получилось заминки – вдруг самого Феопента подкосит хвороба, а заменить некому: единственный в Хлебном остался столяр.

Пришёл час, когда отец, пересилив немочь, вышел на улицу и стал осторожно двигаться по ограде – снова, как в младенчестве, привыкал держаться на ногах. А вскоре появился и на подворье деда Феопента. Глянул старик на отца – голова закружилась. Не сойдя с крыльца, крикнул:

– Данилушка! По делу какому аль так?

– Слышал: вечером доски рубанком обдeldывал. На что?

Мать честная! Неужели Данила всё пронюхал и пришёл самолично удостовериться в замысле Феопента. У старика аж подкосились ноги, попрiderжался за перила крыльца.

– Да, так, Данилушка, мало ли куда может потребоваться. На всякий случай... Крыша кое-где течёт, починить надо.

Казалось, дед Феопент нашёл выход из неловкого положения, и доводам его поверил отец.

– Я бы хотел, дед Феопент, тёсу у тебя попросить.

– Зачем?

– На лодку.

– Лодка у тя же была.

– Была да сплыла. Угнали. Пока хворой валялся.

– Плыть куда собираешься, что ль?

– В низовья Нии. Сашку на учёбу пристроить где-то надо. В школу время подоспело. Законом велено.

– Кто их те тут, в тайге, написал эти законы?

– В тайге не в тайге, раз живём в новой России, стало быть, власть советская их написала.

– Ну, так, конечно, – легко соглашается Феопент. Дотошный старик, он знает про всё, о чём толковал с Данилой, и говорил лишь для того, чтобы услышать лишний раз подтверждение о добром деле и порадоваться: вот что она, новая власть, принесла всему народу – везде открыла школы, всем работу дала. – А насчёт тёсу скажу тебе, Данилушка, такое. Для доброго человека ничего не жалко. Попросишь берданку – отдам, рубаху тоже, хлеба, соли – одолжу. Как иначе-то жить на белом свете?

Домой отец вернулся с мыслью завтра же начать сборку лодки. Медлить не следовало, ибо дело это не столь простое и потребует добрых недели полторы. Пока сколотишь каркас – пройдёт дня три-четыре при спорой работе. Да просмолить и высушить его надо. Хорошо, что прошлым летом раздобыл отец у знакомого дегтярника полбочонка смолы. Простоял зиму и нынче, лучше некуда, пригодится, ряда на два хватит помазать, и ладно, больше, пожалуй, не надо, если тесина здоровая.

К вечеру отец изыскал и принёс к месту всё, что требовалось – доски, поперечины, днище, – и, не откладывая до утра, взялись за дело. Возились с поделкой вплоть до потёмок, пока отец не уяснил, что основательное начало положено и дальше всё пойдёт своим чередом, без задержки. Работа вдвоём ладилась, я был тут как тут, когда отпиливали доски и примеряли к поперечинам, пришивая гвоздями. Пригодились сейчас мои руки! Хорошо, что отец не отправил одного меня к своей старшей сестре, моей тётке Евдокии, когда случилась беда в тайге. Источила бы обоих уже тоска – тоска злее болезни. Напрасно бы тешил себя отец мыслью отвлечься от тяжёлого чувства. Оно бы разрасталось, словно надёжно обосновавшийся на пустыре репей.

В тот вечер отец остался доволен работой и, уйдя домой, долго не мог заснуть от радости. А утром, ни свет ни заря, снова принялся стучать молотком. Всё успели сделать не за полторы недели, а за четыре дня. Лодкой пришёл полюбоваться дед Феопент.

– А слышь, Данилушка, получилась она, ладыя-то. По всем правилам, – похвалил старик.

– Не захлестнёт нийской волной?

– Што ты, паря... По окиану можно пускаться.

– Человек без шутки, всё равно што колоколец без звени. Спасибо.

– Пойду домой, надо побыстрее «спасибо» твоё унести, Данилушка, а то ветер подымет да разнесёт по белу свету.

– Жалко?

– Да не про это думаю я, может затеряться в пустынном краю, зачем оно там «спасибо», кому? А то и человеку худому попасть может. Не заслужил он того.

Нравится отцу мягкой душой, деликатным обхождением и большим запасом ума дедушка Феопент. От разговора с ним на душе стало попросторнее, вроде бы поубавилось тоски, вытеснило её тёплое стариково слово – и потому смотрит вслед уходящему Феопенту повеселевший отец с сожалением.

Жалко расставаться с соседом! Завтра ранним утром, когда ещё даже самая беспокойная баба будет нежиться в постели, отец и я покинем село, отчалим на новенькой лодке и поплывём к нийскому низовью. Где-то там, бог весть под чьей крышей, отец оставит меня.

Тётка ли родная приютит под своим кровом или же пригреет какой другой человек – всё равно теперь быть далеко от дома. Отрывает от себя отец родного сына, посылает куда-то. И успокаивает он себя лишь тем, что раз пришла пора в школу, надо отправляться. В полуопустевшем Хлебном откроют школу или не откроют, никто не знает. И надо начинать учёбу в другом селе – что терять время. Отец неграмотный человек, а шибко хочет, чтобы я всему научился – пахать землю и растить на ней добрый хлеб, чтобы знал, как решить сложную задачу и грамотно написать письмо. Постарается отец, сил не пожалеет. Лучше хочет сделать мне. Выйдет ли? Матери моей тоже плохого не хотел, а получилось хуже не надо. Лежит теперь она в земле, не зная, какие муки жизненные принимаем. Не получается у нас по-хорошему. Сами

виноваты или кто другой? Сами, конечно. Мог не допустить отец, чтобы в его доме распоряжался проходимец Гришка Безродный. Зачем приютил и пожалел хитреца?

Так ещё долго в тот вечер, собираясь в дорогу, казнил себя сомнениями и укорами отец. Чутьочку успокоился перед утром, когда было впору встать, подняться разбудной заре.

Глава XI

Стремительна в летнем потоке горная Ния. Сорвавшись с отвесной скалы, чистая её, как слеза, вода, набирая и набирая по пути грузу, вырывается в долину. Тут Ния, почувяв вольную широту и насытившись ею вдоволь, вдруг утихает.

В покорности и ласке необычной кажется Ния всякому сошедшему на её берега зверю, каждой пролетевшей над её голубым кушаком непоседе-птице. Вот присев на ворчащий галешник, любитесь своим отражением в зеркальной воде кудлатый медвежонок. Дивится, недоумевает: как очутился на дне реки? Прокует достать двойника кривою лапой и ухватить цепкими когтями. Едва дотронется воды – исчезает двойник, расплывается в дрожащей ряби. Ния умеет спрятать на дне своём всякое диво.

Зато совершенно равнодушными очами провожает горделивая река парящего над нею в одиночестве беспокойного коршуна. Чиркнет тенью бесследной он по её солнечной глади – и опять будто бы и не был совсем. Что для неё угрюмый коршун? Не друг и не враг. Просто сторонний свидетель. Самый близкий Ние, самый дорогой ей тот, кто чувствует и понимает её тревоги и думы – человек. Но и человек-то не всякий. Знает отец разных людей. Одни родились, выросли и состарились на нийских берегах. Таким река ровно мать родная. Ничем не посмели они осквернить её.

Отца приняла Ния гостем, но не оставил он в её горнице ни единого грязного пятна. Чиста его душа перед Нией. Поэтому, наверное, плывя сегодня вниз по её течению, отец сиял от радости, когда открывалась неожиданно живописная картина. Засмотрится на неё – и вот уже промелькнула, отнесло лодку течением, осталась красота на загляденье ещё кому-то, и жаль и не жаль этого отцу. Неохота расставаться с красотой, но и другим нужно оставить, чтобы полюбовались.

Сперва тянулись берега почти ещё в нетронутой первозданности. Местами высились они то трещенистыми скалами, то ниспадали над водой ветвистыми ивами. Потом, когда река стала шире и берега низменнее, ровнее, почувялась близость селений, отец насторожился.

– Скоро Нийск, а следом и посёлок опытной станции. Там проживает учёный.

Солнце висело над горизонтом. Потянуло прохладой.

Посёлок выпятился к реке на всхолмленном мысу, в излучине которого причалили лодку. Отсюда еле заметно, взявшись от берега, вилась к посёлку каменистая тропа.

Тропа крутая, извивается змеей среди пышных тёмно-зелёных сосен. Прилипшие к покатиному склону, сосны будто недолговечны, навалился ветер – сорвутся и рухнут в Нию: не спасут от гибели и жилистые корни.

Глядеть с высоты – и Ния будто не Ния, совсем другая речушка, узенькая, зараз перешагнуть, и тихая, усталая, день-деньской работала во всю силушку, теперь собралась отдохнуть.

Потянулась равнина. И на ней, тоже в окружении сосен, – дома. Стоят в один ряд, окна к солнцу, и перед окнами – улица не улица, травянистая лужайка. Как в Хлебном босиком можно носиться!

Идём по лужайке. Отец разглядывает постройки – какая учёного? Сразу и не угадаешь. Дома всё новые, с крепкими заплотами – людей в ограде не видно. Только где-то на задах слышен ребячий смех.

По тропинкам меж огородами направились туда. Сцена представилась забавная – рослый дяденька с четырьмя мальчишками сшибают городки. С битой – дяденька. Развальню замахнулся – хлесть! Бита – мимо. Парнишки зычно хохочут – потеха! – дяденька высокий, ему хорошо видны городки, а городошная «пушка» не тронута.

Мы приостановились, глядя на запальчивую игру. Дяденька посмотрел в нашу сторону и махнул рукой: «Приглашаем в компанию!» Наверно, ошибся, подумал – свои, поселковские, а тут дальние, неожиданные. Странники – где приютят, там и ладно.

И вдруг дяденька размашистым шагом – нам навстречу. Улыбка – во всё лицо, раскинул руки, обнял отца:

– Данила Севастьяныч! – чуть отстранился – поглядеть, не обознался ли? Не думал не гадал, а вишь как – привечай дорогого гостя хозяин. – И Сашко тут!..

Догадался я – дяденька-игрок и есть тот человек – учёный. Припомнился его приезд в Хлебное, был разговор вечером возле костра. Дядя Иосиф, прощаясь, подарил мне складной ножичек – в кармане лежит, сберётся.

Подскочили ребяташки – интересно: кого их старший товарищ встречает радушно? Брата? Старого друга? Позыркали глазами – то на меня, то на отца. Один, поменьше других ростом, в ситцевой рубашонке с расстёгнутым воротом, босоногий, рыжие волосёнки включены, швыркнул носом, признал во мне своего – взял за руку и потянул за собой, соблазняя играть в городки. Дядя Иосиф остановил:

– Завтра, орлы, соберёмся. Пора по домам. Да Саня сегодня и не может – устал с дороги.

Городошники потянулись один за другим, как с озера гусята, оглядываясь. Сгущались сумерки.

– Ну, в хату, друзья! Вот тут недалеко, – Иосиф Петрович показал на потерявший в сумерках очертания дом. Но и сейчас строение выглядело внушительно – высокое, многооконное, с четырёхскатной крышей.

Ещё на крыльце, где мы застали хозяйку, Маргариту Максимовну (она была занята серьёзной работой – солила грузди), Иосиф Петрович объяснил, кто и откуда гости.

Хозяйка привстала, улыбаясь, кивнула:

– Я догадалась сразу – люди из тайги, значит, Данила Севастьяныч с сынишкой. Как было не догадаться? Столь разговоров о Хлебном, плодovитой пшенице, судьбах людских – всё помнится.

И Маргарита Максимовна, оставив на время грибные дела, занялась кухней.

С ужином хозяйка не задержалась, проворная, будто всё было у неё под руками – скоро заставила она стол крестьянскими съестными припасами. Нас бы принять где-нибудь в кухонном уголке, а тут с большими почестями – в просторной горнице. Здесь не чаевать – любоваться убранством. На стенах – картины, портреты каких-то учёных, в простенке – узорчатый книжный шкаф. А книг-то, книг! Под высоким потолком – лампа с рисунчатым абажуром – льётся мягкий таинственный свет. В окна проглядывает сумеречная синева. Сквозь неё украдкой сверкнул острым рогом недавно народившийся месяц.

Всю дорогу, пока плыли почти целый день, волновала меня мысль, где остановимся и как нас примут. Сейчас стало ясно – пристанищем моим будет безымянный станционный посёлок – как и настраивал отец ещё в Хлебном. А успокоиться не могу, даже, кажется, тревоги прибавилось: привыкну ли к жизни на новом месте в чужой семье?

Сижу за столом среди взрослых, ко мне то и дело обращается Маргарита Максимовна, просит поесть то одно, то другое, а я стесняюсь протянуть заскорузлые руки – вышли проклятые цыпки, перед дорогой старался вывести их, да напрасно старался – болючие коросты остались.

От тревожных дум иногда отвлекает Иосиф Петрович. Начнёт рассказывать какую-нибудь житейскую историю, посмотрит на меня (слушай, Саня!) – на минуту душе станет легче, так было бы всегда, но нет, снова цепляется тоска... Убегаю в своё Хлебное. Брожу по пустынной улочке. Спускаюсь с удочкой на приветливый берег Нии. Радуюсь пойманному на метляка чернопинному хариусу... С неизбывной печалью захожу на кладбище. Вот три могилы – мамина, сестрёнки и братишки... «Мама!.. Мамочка!.. Ты слышишь меня? Это я, Саня...»

У дяди Иосифа зоркий глаз – заметил: чаще правой сую под стол левую руку. Не всякий же раз зловерные цыпки скрываю, рука тянется в карман вынуть складень и похвалиться: «Вот, дядя Иосиф, ваш подарок, с собою взял показать». Да как-то неудобно перебивать разговор старших – сиди да слушай, и так чести большой удостоился. Пусть спросит сам дядя Иосиф. Не спросит, тогда покажу.

Разгадал дядя Иосиф хитрость мою, спрашивать не стал, а повёл рассказ издалека о том, что в одно из путешествий в поисках семян для научных опытов он подарил какому-то новому знакомому мальчику складной ножичек. Где это было и кому подарил, теперь уж и не помнит, а хотелось бы встретиться с тем мальчиком да спросить его, сохранил ли подарок?

Воздержаться уж тут я не мог:

– Дядь Иосиф, как же вы могли забыть? Меня?!

– Тебя, Саня? Неужели?

– Правда!

Складень вмиг оказался в моей руке. Отец с Маргаритой Максимовной рассмеялись, а дядя Иосиф сказал серьёзно:

– Ну, молодец, Саня! Будь и впредь бережливым. Кто бережёт, тот и живёт.

– А вы нашу пшеницу сохранили?

– Как же – сохранил! Завтра увидите, покажу.

За разговорами ужин затянулся – время бежало незаметно. Окна заволочла густая синева. Молоденький месяц поиграл острым рогом и спрятался – до завтра, ему тоже отдохнуть надо.

Всё прояснит завтрашний день. Ночи осталось немного. Уговариваю себя уснуть поскорее, сон не идёт – чуть прикоснётся и убегает, будто это сон чужой, мой остался в Хлебном. Отец, видно, свой взял с собой, человек бывалый, знает, что брать в дорогу – спит.

Комната для гостей рядом с хозяйской спальней, отделяется перегородкой, обклеенной обоями. Там – осторожный разговор. Я слышу, отдельные слова доносятся внятно. «Ося, я глядела на Саню, а сама думала о нашем Андрейке – был бы он такой уж рослый, радость наша». Это говорит Маргарита Максимовна. «Слезам горю не поможешь – потерю не вернёшь», – отвечает дядя Иосиф... Голоса за перегородкой утихли. Хозяева уснули. Одолела дрёма и меня.

Проснулся от воробьиного галдежа под с раскрытыми створками окном. Воробьи облюбовали освещённый солнцем невысокий куст акации и устроили утренний концерт – вставай, голубчик, хватит в постели валяться! Спасибо: вовремя разбудили!

Утро явилось весёлое. Первое – на новом месте. Хозяева и отец поднялись давно, наверно, с восходом солнца. Топотят по крыльцу, в ограде. Переговариваются. Одеваюсь и выскакиваю на крыльцо.

– С добрым утром, Саня! – слышу ласковый голос Маргариты Максимовны.

– С добрым утром, тётя Рита! – отвечаю.

Смотрю: Маргарита Максимовна уже хорошо поработала. Вечером её отвлекли, не дали посолить грузди – встала раненько и сумела управиться, кадушка заполнена, накрыта крышкой, поверх её – увесистый каменюка. Дядя Иосиф с отцом развалили на чурки брёвнышко – колют чурки, складывают поленницу. Хозяйка торопит, прохладиться не даёт – подошло время завтракать. А что потом? Тетя Рита опережает мой вопрос – прочитала по выражению моего лица и спрашивать теперь уже незачем. Потом – всякая работа в огороде, саду, на опытном поле.

Часто разговор то намёками, то вопросительным взглядом – обо мне. Таят от меня что-то взрослые. И чего скрывать? Я же не ребёнок – пойму, что хорошо и что плохо. Станут чему-то неволить – уйду в своё Хлебное... Там – раздолье, полная волюшка, что желает душа, то и делай.

После завтрака, когда отец с дядей Иосифом вышли во двор, тетя Рита погладила меня по голове и завела разговор:

– Делать-то, Саня, что уже научился?

– Ага. Всё могу.

– Правда?

– Умею грибы искать, ягоды собираю. Хожу по боярку. Мамы нету, всё самому с отцом делать надо.

– А ещё что можешь?

– На коне ездить могу. Верховом.

Тётя Рита улыбунулась. Я понял: езду на коне верхом за дело не считает. Напрасно! Пусть сама попробует. Нечего и говорить – не получится. Скажи – не поверит, ещё чего доброго просмеёт – стряпал лепёшки и валенки починял. А уж про рыбу и упоминать не собираюсь – ловил всякую, тётя Рита и сама знать должна: кто из ребятишек при реке не рыбаком?

– Вот и хорошо: всё ты умеешь, Саня, – тётя Рита смотрит и смотрит на меня. Глаза у неё серо-голубые. Весёлые. Веки утыканы чёрными ресницами, мигнёт, будто крылышком помашет.

– Всё умеешь делать, как мужичок с ноготок. Слышал о нём?

– Не-е.

– Научишься грамоте – прочитаешь.

– На нашей заимке, тётя Рита, школы нету.

– В школу ходить у нас будешь. Папа твой говорил...

Дома, когда отец сказал об отъезде, я воспринял всё это как занимательное путешествие в неизвестные края. А всю сложность простого понятия понял только сейчас. На развилке двух дорог остановил меня отец.

«Смотри, сын: одна дороженька – в жизнь, к людям, другая – неизвестно куда. Выбирай! Если не в силах сам выбрать – тогда его, отцовское, слово в законе». Вышло по воле отца – мой протест был для него не более, чем сиюминутное ребячье упрямство.

...После обеда Иосиф Петрович повёл нас показать научное учреждение. На ровной площадке, возле самой опушки молодого сосняка – приземистое строение из дерева. Окна с резными наличниками. Деревянные кружева! Точь-в-точь такие умела вязать из ниток мама. Кто у кого перенял? Наверно, Иосиф Петрович у мамы, поди, видел её мастерство, когда был в Хлебном?

Крыша строения драничная. Померкла ещё не шибко – желтеет, драньё первозданность сохраняет долго, незаменимая кровля. Так крестьяне толкуют, может, они чересчур пристрастны, потому и нет для них ничего лучше, может, от того, что у нас это самый доступный материал. Пошёл в лес, свалил бревно, прямое, без сучьев угадать надо, разделил на доли длиною по два с половиной – три метра и раскалывай на пластины. Богатство рядом, под рукою – бери, сколько хочешь.

Подходим поближе. Домик ладный, как игрушка красуется.

– Крестьяне изладили, – говорит Иосиф Петрович. В голосе гордость. – Сами, без всякого приказа. Прослышали, что приехал полезный человек, заявили спросить, не нужна ли какая подмога.

Отец помолчав, сказал:

– Смышлёный народ крестьяне. Почуяли доброе и, чтоб поскорее сбылось желание, помогли.

– Выходит, они мне одолжили, – Иосиф Петрович смеётся, в глазах мальчишечье озорство, резко жестикулирует. – Расплачивайся теперь, дорогой. Брать умеешь – сноровься отдавать.

– Ага, – соглашается отец. – Так вышло, Иосиф Петрович, истинно так. Виноват: задолжался.

– Ладно, Севастьяныч, с помощью твоей да моим старанием расквитаемся. Только и дума. Другой, посторонней в голове не держу. Чтоб не отвлекала от главного. Что главное? – спрашивает себя Иосиф Петрович и отвечает: – А пшеница наша, она!

Отец понимает, почему учёный говорит о пшенице «наша». И я тоже знаю: учёный взял у отца для размножения семена. Получилось или нет? Иосиф Петрович обошёлся пока мимо­лётным упоминанием. Наверно, плохо выходит. И отец не выспрашивает, видно, считает: рано.

Иосиф Петрович широко открыл дверь строения:

– Прошу, дорогие гости!

В рабочем доме учёного, возле стен – полки с книгами в разноцветных коленкорových переплётках. На столе – высокий металлический предмет, стеклянные пузырьки с зёрнами. По углам развешаны аккуратные снопы хлеба. Рожь и пшеница, просо и овёс.

Позволив осмотреться, Иосиф Петрович нарушил тишину:

– Не устали, друзья мои, знакомиться?

– Смотреть – не пахать: не надсадишься, – отвечает отец.

– Тогда побудем ещё некоторое время. Покажу вам одну диковинку. – Кивнул на прибор. – Это микроскоп-увеличитель. Вот полюбуйтесь. Саня, встань на табуретку и погляди. Ну, посмелее! Устроился? Смотри правым глазом, левый зажмурь. Получилось?

– Ага.

– Что видишь?

– Зерно. Громадное, будто кедровая шишка.

– Посмотрел? Хватит, а то глаз утомится, – дядя Иосиф снял меня с табуретки. – Пусть поглядит Данила Севастьяныч. Прошу.

Над микроскопом склонился отец. Прошло некоторое время, и он с волнением выдохнул:

– Вижу!

– Она?

– Она!

– Ей и в здешних местах неплохо – попала в надёжные руки, – дядя Иосиф озоровато подмигнул, знайте, мол, наших, не лыком шиты. – Ваша пшеничка теперь стала лучше.

– Чем? – усомнился отец.

– Урожаем. Крепче держится на корню. Меньше болеет.

Неужели правда, что дядя Иосиф обладает даром распознавать болезни растений, делать крепче соломину и зерно крупнее. Возможно ли? Как? Почему? Не знаю, встревожился ли отец, а я вышел из дома учёного переполненный неясными мыслями. Когда найдётся на них ответ?

На другой день утром, едва поднялось солнце, Иосиф Петрович повёл нас на опытное поле.

– Вот оно какое – ровная поляна, десятин на двенадцать, – прикинул отец.

– Часть пашни создала природа, – сказал учёный, – часть отвоевали у леса, раскорчевали. Известная крестьянам работа – удобной земли у нас мало, без корчёвки не обойтись.

Поле размечено на небольшие квадраты – делянки. Картина однообразна – колоски, колоски... Тихий шелест. И волны – поле дышит, поле живёт.

– Ваша «таёженка» на нескольких участках, в разных местах, – говорит учёный. – Попробуйте опознать.

Пошли по натопанной узкой тропе в глубь поля. Отец взглянул на делянку по правую руку и воскликнул:

– Вот же она! Санёк, посмотри!

– Не ошибся, тять?

– Не-не, сынка! – отец, затаив дыхание, склонился над растениями. – Колос её, «таёженки» – крупный, соломина упруга. И колосковые чешуйки узнаю – лопатистые, с продольными красноватыми полосками. Эту пшеницу, скажу вам, и впотьмах угадаешь.

– Во-во, Данила Севастьяныч, правильно говорите. У вас, замечу, острое хлебоборобское чутьё.

– Дело ваше, Иосиф Петрович, сложное. Саньку на ум бы наставить. Чтоб продолжил нашу работу.

Иосиф Петрович посмотрел на отца с любопытством: добрую мысль подал мужик. Сошлись люди чужие – разговор ведут по-свойски, толково.

Весел отец, держит меня возле бедра, обнимает: вот, мол, Санёк, и мы дожили до счастливой минуты, народ не пропащий...

Молча разделяю отцову радость, а сам ещё более возбуждаюсь ею: хорошо жить на белом свете, земле надо было, чтоб я родился. Непременно я, никто другой. Разве бы кто другой был бы сегодня на этом поле, разговаривал бы с учёным? Конечно, нет, потому что он не имел и не имеет такой пшеницы, как у нас. Она сблизила нас, чужих людей... А сколько ещё сблизит! Конечно, если Иосифу Петровичу удастся сделать пшеницу такой, какой хочет, какую надо, чтобы все люди были всегда сыты хлебом...

Трогаю за руку отца:

– А можно у нашей пшеницы вырастить большое зерно... Ну, какое мы вчера видели.

– Не знаю.

Иосиф Петрович, слыша разговор, улыбается:

– А это возможно будет, Санёк. Только время понадобится.

– Сколь?

– Лет десять.

– М-много! И вы сможете?

– Попытаюсь... Собственно, уже работаю, – Иосиф Петрович остановился, протянул руку к колосу, положил его на ладонь. – Вот Данила Севастьяныч сразу же признал свою пшеницу. Неудивительно: внешне пока она осталась почти прежней – тот же колос, та же соломина. Но... уже сделано то, что позволит ей улучшить свои качества. Будет и колос покрупнее, и в зерне побольше ценнейших питательных веществ, и созреть станет раньше пшеница, словом, станет лучше.

Пахнул ветерок – колыхнулись, зашелестели колосья. Разом. Кучно. Кланяются туда-сюда, направо-налево. И звон над всем полем поплыл струйно.

– Чуешь, Сань? – спрашивает Иосиф Петрович. – Песня хлебов льётся.

– Ага... Тихая-тихая.

– Чуткий человек уловит. Это песня человеческой жизни... Без неё люди счастливыми быть не могут.

Дышит тайной поле. Да и сам Иосиф Петрович чудится каким-то необыкновенным человеком. В глазах его усталая грустинка – насмотрелись чего-то за свою жизнь такого, от чего стонит веселье. Степенны движения, не выдаёт и малости своего волнения. Приходит ли оно к нему? Бывало ли когда вот так, что человек срывается вихрем по какому-нибудь пустяку, завертится, изнеможит себя и падает наземь обескровленный и опустошённый. На смуглое обветренное лицо вырвалась улыбка, тоже с примешанной грустью: что-то вспомнилось. Иосиф Петрович зовёт нас на межу поля, просит присесть. У него тут, в тени от берёзы, скамейка, от времени она уже взялась чернотой. Усаживаемся. Отец рядом с учёным, я – возле отца. Иосиф Петрович собирается с мыслями. Затекает разговор.

– На этом поле случается что-нибудь каждодневно. Ну, всякие житейские истории. Куда от них денешься? Не денешься, раз живёшь на миру. Частенько крестьяне наведываются. Идут. Из самых дальних сторон наезжают. Што надо? Одного: семян, семян! Более ничего не просят.

Давай им что угодно – отмахнутся. Особо много ходочков было в неурожайном девятьсот двенадцатом году. Во всей нашей округе чуть ли не все посеы тогда вымерзли. Остались люди без хлеба. Бедновата была ещё и моя кладовая, но, что возможно и подходяще, давал, не жалел. И тому были рады...

А однажды, ещё в начале опытнической работы, явился ко мне сам батюшка. Пожаловал во всё своём церковном облачении, в чёрной просторной рясе, крест золочённый на виду, русая борода густа и округла. Высок батюшка и статен. Возрастом примерно моих лет.

Слышу басовитый голос: «Доброго вам здоровья, господин Соснов! Пред вашим челом настоятель божьего храма отец Сафроний». – «Рад вас видеть, – отвечаю. – Думал пригласить, а вы сами наказ божий исполнили». – «Такова служба – услышать заблаговременно зов людской. Освятим поле хлебное». – Батюшка осенил поляну крестом. Хошь ты не хошь, а ничего без его благословения не сотворишь. Сила, что дана батюшке по воле Божьей, крепка и непоколебима.

Думаю: доброе напутствие в делах моих помехой не будет. А батюшка, ровно прочитал мои мысли, говорит: «Все деяния людские благословены Всевышним... Не научайте крестьян противу его хотения». – «Крамольных мыслей я никому не внушаю. А что крестьяне идут ко мне – я обязан дать им хлеба». – «Благостны помыслы ваши...

Окропись дождём, поле житное,
Возроди, земля, зерно крупное,
Подиви людей нивой тучною
Да порадуй их хлебом досыта...»

«Слышу молитву, батюшка, аль это стихи Кольцова?» – «Земное слово, господин Соснов. Вечный зов Божий к пахарю». – «Славно молвлено». – «Для людской благодати, господин Соснов. Молитесь за неё и творите благопристойные дела. Доброе вечно!»

Перекрестился отец Сафроний и ушёл довольный содеянным...

Мы собрались покидать поле, пора было идти домой (Маргарита Максимовна наказывала мужу обязательно вернуться к полдню), когда отец, чуткий ко всяким малейшим переменам в природе, обратил внимание на вывернувшуюся из-за леса большую взлохмаченную тучу.

Шла она бойко и, как нарочно, прямо в направлении к опытному полю. Минут через десять туча, разрастаясь, застила полнеба, ударила до самой земли прямая молния и следом гулко полыхнул гром. Посыпался град.

– Вот он, гостюшко, пожаловал незванный, – с тревогой сказал Иосиф Петрович.

Град хлестал ошалело, на открытых прогретых местах таял, а запавший в ложбины скапливался в белые грядки.

Иосиф Петрович смотрел на поле встревоженно, не скрывая жалости к посевам – как ещё бессилён человек в столкновении со стихией.

– Для опытов град – сущее бедствие, – сказал учёный. – Бывает, погибшие образцы либо не восстанавливаются, либо оживают лишь по истечении долгого времени.

Густо-лиловая туча ещё тяжело висла над полем и сыпался град, только мельче и реже, а я уже от нетерпения высовывался из-под сарая, подставлял ладошку – пусть упадёт градина – и среди мельтешашей пестряди не сразу заметил передвигающиеся людские фигуры.

Шли женщина с мальчонкой, держали к сараю, как я думал, спастись от града. Ближе и ближе. Какая же сила и куда погнала людей в непогоду? Путники подвернули к сараю. Женщина, заметив людей, вроде обрадовалась – на лице её скользнула улыбка. Мальчишка глядел хмуро.

– Здравствуйте, добрые люди! – войдя в сарай, поклонилась путница. – Ищем хлебного человека. Сюда не сюда попали? Сказывали, тут он.

Иосиф Петрович, понял, что женщина хочет встретиться с ним, в её понятии с человеком, имеющим несметные запасы хлеба.

– Я – вот, – поднялся навстречу. – Чем могу служить?

– Ой, голубчик, спаситель ты наш, – запричитал женщина. – Слышно: не обижаешь крестьян. Того и другого наделил хлебом... Мой хозяин тоже говорит: иди, Елена, к учёному, возьми ребетёнка, одень его полохмотнее, чтоб видел, что пришли люди бедные, и попроси. Сколь уж даст – это его дело.

Иосиф Петрович прислушался, о чём-то догадываясь:

– Кто ваш хозяин?

– А Дмитро Залейогонь... Он бывал в вашем поместье.

– Помню. С крестьянами приходил. Зимовьюшко рубить собирались.

Дмитро тогда рассердился, ушёл. Да, видно, вспомнил: трудно пришлось.

– С голоду подышаем... Ланись хлеб весь погубило. Пошиб ранний иней. Весь год на курлыче пробивались, хозяин с постели подняться не может. Што делать-то нам, родной?

Убитая бедой, женщина встала на колени, сбивчиво крестилась и всё что-то сухо, бессловесно шептала. Мальчишка неподвижно стоял рядом с одеревеневшим бледным лицом и остановившимися, будто заледеневшими глазами.

– М-мам. В-в-стань.

Она, повинуясь зову мальчонки, оперлась на руки и поднялась. Лицо её просияло какой-то чужеродной, вымученной улыбкой. Может, и не надо было вставать тут на колени, зачем? – пришла же не в церковь. Иосиф Петрович молчал, не успокаивал, не обещал. Что успокаивать и утешать – легче не станет. Пообещать может только на осень. Уберёт деляны, выберет нужные зёрна – остальное сгодится на пропитание. Пробьются до того времени, придут – отдаст всё, что скопится ненужное для науки.

Женщину вдруг что осенило – она как-то ловко обернулась лицом к опытному полю и будто озарилась нечаянной надеждой.

– Свет мой, не обессудь глупую, – выдохнула она разом и уже, наверно, не помнила, что и сказала, – отмерь малый клочок твоего хлеба на жнитво. У тя его много!

Мальчуган тоже всколыхнулся, сверкнул ожившими глазами. Ожидал он, что вот-вот свершится то, зачем он с матерью шёл много вёрст, едва осилили дорогу и, слава богу, теперь не напрасно. Дяденька, на которого он смотрел с надеждой, конечно, не откажет. Разве отказал бы он, мальчишка, дяденьке, имея такое большое хлебное поле? Найдут они серп, если своего не взяли, дасть кто-нибудь, выжнут деляну, тут же обмолят колосья и унесут хлеб домой. Отца покормить надобно, от недоедания занемог.

Расслабился Иосиф Петрович, вроде бы растерялся: надо побыстрее ответить людям, ждут, зачем томить понапрасну, а слово нужное не приходит. Оно где-то далеко, это слово, от Иосифа Петровича, так далеко, что совсем его и не слышно. Не слышно, наверно, потому что такого слова и нет или быть не должно. Зачем оно, если людям от него плохо сейчас или станет потом. Не отчуждайся, Иосиф Петрович, ты явился на это поле сеятелем и хранителем добра. Люди поверили в твоё назначение, зря они не поверят, и потому с тобою должно быть всё, что нужно им – слово сердечной правды.

– Не могу я дать и частицу посевов. Ни вам, ни кому другому.

– Пошто? – женщина смахнула со щеки слезу.

– Это поле принадлежит всему народу. Я помогу вам в другом. Пойдёмте с нами в посёлок. В моём доме припасена пудовка ржаной муки. Мы отдадим её вам.

– А сами?

– Сами? Сами с усами... Есть в запасе картошка...

Туча, разгрузившись, ушла за поле. На небе выставилось, сияя, солнце – ждали, вот и явилось. Мы следом за Иосифом Петровичем поторопились к полянам посмотреть посевы. На лучших участках град не повредил ни одного колоска. Хозяин торжествовал:

– Данила Севастьяныч, считайте, что вы ещё раз спасли пшеницу свою! По желтеющему полю спокойно погуливали волны. Колосья качались, подталкивая друг дружку, видно, час от часа, день от дня им становилось теснее.

...Отец ушёл на третий день. Взял на бечёвку лодку и потянул её, шагая по закамененной прибрежной тропе. Мы с Иосифом Петровичем стояли на берегу и провожали его взглядом, пока не скрылся за глубоко вдавшимся в Нию скалистым мысом. Обосноваться отец собирался или в Бадаре, где жила тётя Дуся, или в каком другом селении подле него. Такой выбор считал самым удобным и подходящим – эти сёла, не то что Хлебное, были поближе к Нийску, а стало быть, и ко мне, оставшемуся у Сосновых на какое-то время жить и учиться.

В школу надо было идти спустя три дня после отъезда отца. Необычайно хлопотным представился этот день для Иосифа Петровича и Маргариты Максимовны. Они ходили по магазинам, что-то покупали, приносили домой и, глядя на меня, улыбались, храня какую-то тайну. Но вот она и открылась. Когда наступило первое сентябрьское утро, и я поднялся с постели с предчувствием важного события, весёлая, смеющаяся тётя Рита позвала меня в свою спальню.

– Сегодня в школу, Саня. Не забыл?

– Знаю.

– Поведёт тебя Иосиф Петрович... Позавтракаете и пойдёте. А сейчас давай примерим обновки.

На столе лежали разноцветные рубашки и двое брюк. Зачем столько понакупили, будто у хозяев орава ребятишек, все они пойдут сегодня в школу – и вот, пожалуйста, праздничная одежда на выбор. Или уж чересчур заботливые хозяева, или не знают, сколько и какой одежды нужно для одного парнишки? Не знают, наверно, решил я, раз нету своих ребятишек, то откуда им знать, что и как они носят. И распорядиться обновками оказалось не так-то просто. Откуда что и взялось, выперло невиданное и неслыханное доселе упрямство. Едва уговорили меня надеть новую одежду.

В школу пошёл не ладом, не как все порядочные дети, а вернулся оттуда ещё чище. Под правым глазом красовался синяк, кровоточили губы. Увидела меня такого замызганного тетя Рита и ойкнула:

– Где ж это устряпали тебя, родненький?

В школе устряпали, где больше, нийские ребятишки постарше. И виной всему оказалась сшитая отцом года два назад барашковая папаха. Стоило лишь Иосифу Петровичу оставить меня, как пацаны окружили плотным кольцом. Заорали наперебой:

– О, какая папаха бравая! Продай.

– Сам ношу.

– Дай померять, подойдёт, нет.

Папаха полетела, будто куделя под ветром, из угла в угол коридора. Пинали ребятишки её сколько было ловкости и силы. Подстёгиваемый страстью отомстить, я кинулся на обидчиков.

Кратковременную, но бурную схватку заглушила учительница Аграфена Яковлевна. Папаху в школу брать больше не стал, с ребятишками вскоре помирился – думать о какой-то дрянной истории было некогда, всё время поглотила учеба.

...Годы летели стремительно – лето – зима, зима – лето. Школа да частые побежки на опытное поле.

В воскресные дни навещался отец и каждый раз спрашивал, что я познаю нового. С рассказами откликался не охотно, думалось мне, что отец человек взрослый и давным-давно знает то, что поведаю ему. Уходя, отец непременно говорил:

– Учись, сынка, учись. Грамотному в жизни легче.

Вероятно, оказали воздействие его слова, иначе бы Иосиф Петрович с Маргаритой Максимовой да и сам отец не поздравили бы, когда получил свидетельство об окончании семилетки.

– Оделел ты, Саня, первую ступень, – сказал Иосиф Петрович. – А впереди на этой же лестнице – ступенька повыше. Мы с тобой о ней говорили. Про сельскохозяйственный техникум. И эта высота последней не будет.

Так и шло время, пока не взвихрилась черной метелью война...

Глава XII

Однажды вечером, когда я опять сел посмотреть некоторые места из записок, подошла Марина. Лицо её было сумрачно, смотрела печально. Я подумал, что в школе получилась неурядица, и Марина, скрывая от меня, всё переносит молча, одна. Однако на этот раз я не угадал причину её уныния. Объяснила сама Марина. Видно, стало ей невыносимо тревожно и решила разделить беспокойство со мною.

– Геннадий начал пить, – сказала Марина. – Ты не заметил?

– Раньше не пил?

– Не замечала. Жил как все нормальные люди. Что зря винить.

– А ты что у меня спрашиваешь? Я его столько лет не видел.

– Он последнее время опустил, ударился в зелье. Потому и спрашиваю. Может, тебе что известно?

– Известно, – говорю, – он хочет успокоить вином подленькую душонку свою...

– Ты что, Саш! За какие грехи человека бесчестишь?

– За тяжкие... Он поджёт семенной склад и потом сочинил кляузное письмо на старика Соснова.

– Не собирай ерунду, – Марина взглянула на меня осуждающе. – Придёт же тебе в голову чёрт знает что. Уж держал бы тогда себе на уме...

– Это? Что знаю?

– Ну, это... Порядочный человек никогда не станет охаивать другого.

Мне стало не по себе. Я сидел перед раскрытым дневником, обливаясь холодным потом, и не находил слов, в которые поверила бы Марина.

– А ты, Саш?! Такое клеймо положить?.. Мне за тебя стыдно! Стыдно! – она перевела дыхание, спросила: – Ты, может, всё нарочно, разыгрываешь меня, простодушную.

– Нет, – отвечаю, – говорю всерьёз.

– Так ведь какие-то доказательства нужны. Они у тебя есть?

– Пока нету.

– Ну, вот... Зачем же тогда всё это? Ой, Саш-Саш! Позор-то какой падёт – и на тебя, и на меня? В народе заклеят нас кляузниками.

– Ты ни при чём тут, а я за себя отвечу. Если что, по-честному признаюсь перед людьми, что я, Александр Егоров, в поисках истинного виновника ошибся. Не обвиняй зряшно в этой самой заразе – кляузничестве. И люди разберутся, поймут... Да нет, предчувствую: извиняться не придётся...

– Саш! Ты опять за своё. К чему? Живи спокойно, не бери душу, фронта тебе хватило, на весь век память осталась.

– Ты считаешь: с негодями можно ходить в обнимку и улыбаться.

– Нет же его, негодяя-то!.. Не верю, чтоб Геннадий сделал подлость. И кому? Своему наставнику, учителю. Надо потерять всякую совесть! Ты говоришь, что он поджёт семенной склад. Если поджёт, так зачем же ему понадобилось?

– В этом-то и загадка – зачем... Он присвоил сосновский сорт, а чтобы скрыть следы, создал видимость – семена сгорели.

– Это твоё предположение?

– Предположение и заключение... Ты послушай, Марина, я видел на поле «таёжную», но под другим названием. Комарков считает эту пшеницу своею. А я-то вижу, чья она! Теперь суди сама. Если пшеница сгорела, то откуда же взяться ей у Комаркова? Значит, он украл сорт, сначала украл, а потом решился на поджог.

Марина взглянула на меня до жуткости опечаленными глазами, и от её тяжёлого взгляда я содрогнулся. В сознание моё вкралось подозрение: почему глубоко переживает Марина? Горою стоит за Комаркова. Должно быть наоборот – сочувствие старику Соснову. Старик ни за что угодил за решётку, да и в могилу ушёл преждевременно из-за пожара. Что же она хлопочет о Комаркове? Маринка подошла ко мне, легко вздохнула и села рядом. И почему-то только сейчас заметила лежавшую передо мною в постаревшей обложке наполовину сохранившуюся тетрадь.

- Твой фронтовой дневник?
- Нет... Записи Соснова.
- Иосифа Петровича? О чём?
- Об истории опытной станции. Целая книга.
- А где разыскал?
- На чердаке его дома.

Весь вечер Марина была рассеянной, будто что-то искала и не могла найти. Как неприкаянный вертелся возле неё Степанка. Я не мешал ей быть наедине с собою, а всё же не упустил из виду, всё старался припомнить, что где-то видел Маринку такой же странной, не в своём обыденном постоянстве. Наконец, когда она взяла за руку надоедливо хныкавшего Степанку и повела в кухню покормить, в голове вдруг прояснилось: было во фронтовой землянке, когда лежал в забытыи.

Марина вернулась в комнату, оставив Степанку на кухне. Торопливо, не замечая меня, подошла к окну и стала вглядываться в улицу. На дворе уже было темно. В отдалении тускло проглядывали в избах одинокие огни – хозяйки засветили лампы.

Стоит и смотрит замороженно в окно Марина. Окликаю:

- Маринка, наши все дома...
- Знаю, Саш... Кто-то мимо окон прошёл.
- Поди, так показалось.
- Нет, слышала шаги. Прямо к калитке. Выйди на крыльцо, погляди. Человек отошёл от ворот в тот момент, когда я открыл двери в сенях.

Вдогонку окликнул его – не отозвался. Впотьмах силуэт виделся плохо, но всё же я узнал Комаркова. Что же он так – постоял у калитки и ушёл. Хотел увидеть меня с Мариной и что-то сказать или оказался у нашего дома по ошибке?

Глава XIII

С досадой думал об исчезнувших из записок листах. Кто и зачем это сделал без моего ведома? – записки считал теперь по праву своею собственностью. Знать об этом могла Марина. Дождавшись её с работы, я без подозрения в чём-то постыдном спросил, не видела ли случаем, кто прикасался к тетради. Марина поглядела на меня с затаённым укором и ответила после минутного молчания, что совершенно непричастна к ней.

– Ты сам видишь, Саша, посторонними делами заниматься некогда. Хватает хлопот и в школе, и дома. Да и тебе-то она для чего?

– Там я прочитал воспоминания Соснова о своём отце. О событиях в нашем селе Хлебном. Почитай, узнаешь...

Подумав о чём-то глубоко и сосредоточенно, она повторила:

– Не знаю я теперь ничего, Саш. Что делать, не знаю.

– Ты меня чем-то пугаешь?

– Что ты, нет! Просто говорю, что мне почему-то не по себе.

– От чего?

– Сама не понимаю.

– Не верю этому, ты всё понимаешь и какую-то на душе тайну держишь. Не скрывать.

Расскажи – будет легче.

– Правда? – живо откликнулась Марина. – А о чём рассказать?

– Чем встревожена. Ну, например, о том, зачем понадобились тебе листы из дневника?

И больше не смей отпираться! Взяла их ты?

Марина вдруг переменялась с лица, пуще прежнего побледнела и отвела в угол избы опущенные глаза. Спросила, с трудом сдерживая уже готовые выкатиться слёзы:

– Ты знаешь про это?

– А то нет.

– Кто сказал?

– Неосторожно ты поступила. Видел Степанка, как листы вырывала.

– Ой-ой!..

– Не бойся. По какой-то нечаянности, наверное, вышло. Я не верю, чтобы с умыслом.

Какой может быть тут умысел?

Теперь Марина вроде даже чему-то обрадовалась и улыбнулась. Конечно же брать-то не хотела, подтолкнуло любопытство. Наугад посмотрела несколько страниц – как на грех, попала самая страшная запись – и обомлела. Неужели всё это правда? Лучше ничего не видеть, ничего не знать. Бросить тетрадь в печь? Так она же – святая память о Соснове... Надо вырвать листки с ядовитыми строками!.. Пусть о плохом Александр не знает.

– Саш, а Саш, ты, как в зеркале всё видишь, – волнуясь, заговорила Марина. – Правда, плохого умысла не было. Только одного доброго хотела... Надеюсь отвести ссору между тобою и Комарковым. Оставайтесь друзьями.

– Мы друзьями больше не будем.

Голова от раздумий отяжелела. Завязалось такое дело, что и мудрец не рассудит. И чем всё кончится?

Я вышел из дому на улицу развеяться. Долго бродил по окраине посёлка, размышляя о жизни. Больше, разумеется, в преломлении через сегодняшние события, через Комаркова, Марину и Соснова. Иногда нить рассуждений убегала и подальше – поближе к фронтовым землянкам. На фронте всё было проще, яснее, там чётче обозначались свет и тени...

Незаметно я сделал круга два вокруг посёлка, забыв о протезе – обносился, притёрся, будто я с ним родился и жил, на нём бежал по березняковому надбережью к Ние за Маринкой.

Вспомнил о нём, когда сел на пенёк отдохнуть – нога воспротивилась согнуться. Ах, ты всё-таки приставная, чужая! Сижу возле знакомой тропы, соединявшей посёлок с опытным полем. Подкрадывался вечер, тихий и кроткий вечер, и я подумал, что с опытного поля может возвращаться по тропе Комарков, и против своей воли стал ожидать его. Пусть сегодняшний день будет последним мучительным днём, надо сказать Комаркову обо всём, что записал в дневнике Соснов. Это, может, теперь уже единственный в жизни святой мой долг, выполнить его, кроме меня, некому.

Комаркова не дождался и, сожалея о несостоявшейся встрече, ушёл домой. Но предчувствие разговора не покидало. Поздним вечером он осторожно, боязливо побренчал щеколдой калитки. Я поспешил. Не садясь на лавочку, мы поздоровались за руку. В темноте лицо Комаркова было еле различимо, виделся только плоский овал, мутно светились глаза.

– Сядем, Сань, так, говорят, больше правды.

– Если есть она, то и будет...

– Пора, – Комарковдохнул винным запахом. – Дольше тянуть – гибельно. Не могу.

– Слушаю.

Подумал, что не выдержал он душевного терзания и пришёл наконец-то с повинной.

– Храбрый ты, Сань... Но уговор: будь храбрецом до конца.

– К чему уговор? Не понимаю.

– Может, я зря затеял. Ты всё знаешь?

– Говори, чего топчешься вокруг да около.

– Сань, только по добру. Не горячись, рассуди... Мы были в близких отношениях с Мариной. Она не говорила?

– Это её воля – открыться или промолчать. У неё есть право. Она считала меня погибшим.

– Мы свадьбу хотели...

– Я помешал, что ли?

– Теперь так выходит. Какие выкрутасы жизнь устраивает. Кто знал, что так получится?

– Кто знал? Никто, конечно.

– Но ты, Сань, не виноват. Прости, если есть моя вина какая перед тобою.

– Мог об этом не говорить, а уж если заикнулся, ступай до конца. Любил Марину? Или просто волочился?

– Любил... Взаимно было... И сейчас... Посоветуй, что делать?

– Не у того просишь совета. Обратись к своей совести.

Встал, отворил калитку и с тяжёлым чувством, будто в постыдном виде выставили меня перед людьми, пошёл в дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.